

18+



АНТОНИО ИТУРБЕ

Основано на реальной истории узницы Аушвица Диты Краус

REBEL

Антонио Итурбе

Хранительница книг из Аушвица

«Popcorn books»

2012

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Итурбе А.

Хранительница книг из Аушвица / А. Итурбе — «Popcorn books»,
2012 — (REBEL)

ISBN 978-5-6042628-1-8

Четырнадцатилетнюю Диту забрали из гетто Терезина вместе с матерью и отцом, и теперь она выживает в лагере смерти Аушвиц в детском блоке. Старший по блоку, Фреди Хирш, рассказывает Дите о подпольной библиотеке и просит ее проследить за сохранностью восьми томов, которые узникам удалось пронести в лагерь. Дита соглашается и становится хранительницей этих книг.

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-6042628-1-8

© Итурбе А., 2012
© Popcorn books, 2012

Содержание

1	7
2	14
3	27
4	34
5	41
6	50
7	55
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Антонио Итурбе

Хранительница книг из Аушвица

© Елена Горбова, перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. Porcorn Books, 2020

© Antonio G. Iturbe, 2012

© Editorial Planeta, S.A., 2012

Дите Краус посвящается

Дорогой читатель!

Мне бы хотелось рассказать, как возникла книга, которую ты держишь в руках. Несколько лет назад испанский писатель Антонио Итурбе искал тех, кто мог бы сообщить ему некоторые подробности в связи с задуманным им романом о детском блоке в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау.

Он нашел мой электронный адрес, и у нас завязалась переписка. Его письма были краткими, не более, чем вежливые вопросы, а мои – длинными, подробными ответами. А потом мы встретились в Праге, и в течение двух дней я водила его по тем местам, где росла, показывала, в какой песочнице играла, в какую школу ходила и какой дом мы с родителями покинули навсегда, когда нацистские оккупанты депортировали нас в гетто Терезина. На следующий день мы с ним отправились в тот самый Терезин. Перед нашей поездкой Тони сказал мне: «Всем известна самая большая в мире библиотека. Но я собираюсь написать книгу о самой маленькой библиотеке, а также о ее библиотекаре».

Именно эта книга сейчас перед тобой. Она, естественно, написана на испанском, а то, что ты видишь, – ее перевод. Многие из того, что я рассказывала, было использовано ее автором, хотя, конечно, у него были и другие источники, тщательная работа с которыми позволила ему собрать целую коллекцию данных. Но несмотря на историческую достоверность повествования, книга не является документальной. У этой истории два родителя – моя собственная жизнь и богатое воображение автора.

Спасибо тебе большое за то, что прочтешь книгу и поделишься ею с другими!

Твоя Дита Краус



Дита Краус (1929)

Автор фотографии неизвестен, семейный архив Диты Краус

На всем протяжении своего существования блок номер 31 концентрационного лагеря смерти Аушвиц служил пристанищем для более пятисот детей и нескольких взрослых заключенных, называемых «советниками». И, несмотря на установленный за ним тщательный контроль, располагал тайной детской библиотекой. Микроскопической: всего восемь книг, среди которых – «Очерки истории цивилизации» Герберта Уэллса, книжка на русском языке и учебник по аналитической геометрии [...]. Вечером книги, а также другие сокровища – лекарства и кое-какая снедь – поручались попечению одной из девочек постарше, чьей задачей было прятать все это на ночь – каждый день в новом месте.

Альберто Мангель.

«Ночная библиотека»

Воздействие литературы подобно эффекту спички, зажженной в ночи посреди поля. Одна спичка практически ничего не осветит, но она покажет нам, какая тьма царит вокруг.

Уильям Фолкнер

(цитируемый Хавьером Мариасом)

1

Аушвиц-Биркенау, январь 1944 года

Эти офицеры, облаченные в черные мундиры и вззирающие на смерть с невозмутимостью могильщиков, понятия не имеют о том, что здесь, на темной болотистой почве, в которую погружается все без разбору, Альфред Хирш возвел школу. Они этого не знают, и нужно, чтобы никогда и не узнали. В Аушвице жизнь человеческая не стоит ни гроша, не стоит ничего, даже меньше; ее стоимость столь ничтожна, что здесь никого не расстреливают: пуля дороже, чем жизнь человека. Для умерщвления используются сообщающиеся камеры, в которые запускают газ «Циклон». Тем самым снижаются затраты: одного баллона газа хватает на сотни человек. Смерть стала видом производственного процесса, рентабельного исключительно в том случае, когда он осуществляется в промышленных масштабах.

Классы в деревянном бараке – это всего лишь поставленные кружком табуретки. Стен нет, да и классной доски глазами не увидишь: учителя изображают в воздухе равнобедренные треугольники, значки циркумфлекса и даже расположение основных рек Европы жестами, движениями рук. Около двух десятков сбившихся островками детских головок, в центре каждого – учитель. При этом островки расположены так близко друг к другу, что учителя вынуждены говорить шепотом, дабы рассказ о десяти казнях египетских не смешивался с ритмичным напевом таблицы умножения.

Некоторые не верили в то, что такое вообще возможно, и считали Хирша то ли сумасшедшим, то ли наивным дурачком: как можно учить детей в жесточайшем лагере смерти, где все под запретом? А он только улыбался. Хирш всегда улыбался – с самым таинственным видом, как будто знал нечто такое, о чем окружающие не имели ни малейшего понятия.

Не так важно, сколько школ закрыли нацисты, говорил он в ответ. Каждый раз, когда взрослый останавливается на углу, чтобы о чем-то поведать, а вокруг – послушать его – усаживаются дети, открывается новая школа.

Дверь барака внезапно распаивается, и вбегает Якопек, дежурный по безопасности: он несет к каморке Хирша, старшего по блоку. С его деревянных сабо разлетаются капли уличной грязи; мыльный пузырь внутренней безмятежности блока 31 лопается. словно под гипнозом, взирает Дита Адлерова из своего уголка на капли грязи: казалось бы, такие маленькие, незначительные, но все вокруг заражают реальностью – так одна чернильная капля губит целый кувшин молока.

– Шесть, шесть, шестерка!

Это условный знак, сигнал; он означает, что к блоку 31 направляется патруль эсэсовцев. По всему барaku прокатывается тревожный гул. В Аушвице-Биркенау, этой фабрике умерщвления, где день и ночь работают печи, топливом для которых служат человеческие тела, 31-й блок – нечто нетипичное, странное. Скорее аномалия. Достижение Фреди Хирша, который начинал простым тренером в юношеской спортивной секции, а теперь стал атлетом, одолевающим в Аушвице полосу препятствий в ходе самого грандиозного в истории человечества соревнования с катком, перемалывающим жизни. Ему удалось убедить немецкую администрацию концлагеря в том, что занять чем-нибудь детей в отдельном бараке – вещь полезная, потому что облегчит работу родителей в лагере ВІІb, «семейном» лагере, поскольку в остальных дети встречаются так же редко, как птицы. Птиц в Аушвице нет – они умирают на проволоке ограды, испепеленные электрическим током высокого напряжения.

Администрация концлагеря снизошла до создания детского барака. Быть может, по той причине, что это входило в ее намерения изначально. Однако при неукоснительно соблюдаемом условии: этот блок – исключительно игровая зона, обучение какой бы то ни было школьной дисциплине категорически запрещено.

Хирш выглядывает из двери своего кабинета старшего по блоку 31. Ему не приходится ничего говорить – ни своим ассистентам, ни учителям: все глаза и так устремлены на него. Один почти незаметный кивок. Его взгляд требует безусловного подчинения. Сам он всегда делает то, что должно. И этого же ожидает от остальных.

Уроки прерываются и тут же превращаются в обычные детские хороводы с немецкими песенками или в игру-отгадайку: в тот момент, когда на эту сцену обратятся холодные светлые взгляды арийских волков, возникнет видимость полного соответствия заведенному порядку. Обычно патруль – пара солдат – лишь переступает порог барака и несколько секунд наблюдает за детьми. Иногда солдаты даже аплодируют исполнителям песенки или гладят по головке какого-нибудь малыша и тут же покидают блок, продолжая обход.

Но на этот раз обычный сигнал тревоги Якопек дополняет словами:

– Инспекция! Проверка!

Проверка – совсем другое дело. Проводится построение, обыски, иногда охранники задают вопросы самым маленьким: пользуясь детской наивностью, легче вытянуть нужную информацию. Но ни один из ребят ни разу так и не проговорился. Малыши понимают все гораздо лучше, чем может показаться с первого взгляда, когда судишь о них по перемазанным соплями мордашкам.

Кто-то шепчет: «Пастор!...» Поднимается гул, в котором слышатся нотки отчаяния. Пастором зовут прапорщика СС (*обершарфюрера*) из-за его привычки засовывать руки в рукава кителя, словно священник в рукава сутаны, хотя единственная практикуемая им религия, как известно всем и каждому, это жестокость.

– Ну-ка, живей, давайте же! Худа, давай, запевай: «Вижу, вижу...»¹

– А что я «вижу», пан Штайн?

– Да что угодно, все равно что! Бога ради, сынок, что угодно!

Два учителя с ужасом переглядываются. У них в руках – нечто в Аушвице строго-настрого запрещенное; их обоих точно обрекут на смерть, если оно будет при них найдено. Это очень опасные вещи, настолько опасные, что обладание ими обрекает человека на применение к нему высшей меры наказания, хотя они не стреляют, не являются колющими, режущими или представляющими угрозу здоровью и жизни предметами. То, чего так боятся безжалостные служители Рейха, всего-навсего книги: старые, без переплетов, теряющие страницы, почти ни на что не годные. Но нацисты их преследуют, уничтожают, с маниакальной настойчивостью запрещают. На всем протяжении всемирной истории у всех диктаторов, всех тиранов и угнетателей, будь они арийцами, африканцами, азиатами, арабами или славянами, какого бы цвета ни была у них кожа, выступали ли они за народные революции или защищали привилегии высшего класса, действовали ли они именем Бога или подчиняясь воинской дисциплине, вне какой бы то ни было зависимости от принятой идеологии, у всех у них общим было одно: упорное преследование книг. Книги чрезвычайно опасны – они заставляют думать.

Группы детей остаются на своих местах; в ожидании появления патруля и начала проверки они продолжают распевать немецкие песенки. Но вдруг одна девочка, сорвавшись с места и вихрем кинувшись в обход табуреток, взрывает эту безмятежную гармонию барака, предназначенного служить местом для игр и развлечений.

– На пол! Ложись на пол!

– Ты что, рехнулась? – кричат ей.

Один из учителей протягивает руку, стараясь ее остановить, но той удастся уклониться, и – перебежками, меняя направление, – она несется дальше, а ведь нужно совсем другое:

¹ Песенка-игра в слова в диалоговой форме: поющий называет предмет, который он видит, но с ошибкой в первой букве, второй участник говорит, что нужное слово начинается с другой буквы, а с той, которая была употреблена в названии предмета ошибочно, начинаются другие слова. Вопрос мальчика вызван именно тем, что он хочет, чтобы ему назвали первый предмет, чтобы начать игру. – *Здесь и далее примеч. пер.*

застыть, окаменеть, чтобы тебя никто не заметил. Девочка забирается на проходящий вдоль всего барака дымоход – возвышение около метра высотой, разделяющее пространство на две половины, и – хлоп! – прыгает с другой стороны. Немного промахивается, опрокидывает пустой табурет – тот с грохотом катится по полу, и от этого грома на секунду замирают песенки и игры.

– Черт тебя подери! Ты ж нас всех с потрохами выдашь! – взвизгивает пани Кризкова, вспыхнув от негодования. За глаза дети называют ее «пани Лишайка». И учительница знать не знает, что этим своим прозвищем она обязана той самой девчонке, которой и адресованы ее гневные слова. – Затихни там в углу вместе с дежурными, ненормальная!

Но девчонка не слушает, она несется вперед, все дальше, не обращая ни малейшего внимания на осуждающие взгляды. Глаза многих детишек заворуженно следят за мельканием ее тонких ног, обтянутых шерстяными чулками в поперечную полоску. Девочка очень худая, но на вид не слабенькая; за ее спиной маятником раскачивается грива каштановых волос. Дита Адлерова движется среди сотен человеческих фигур, но бежит одна. Мы всегда бежим в одиночку.

Двигаясь зигзагами, она добирается до центра барака и с трудом вклинивается внутрь детской группы. Резко сдвигает одну из табуреток – сидящая на ней девочка кубарем летит на пол.

– Эй, ты что, совсем сбрендила! – кричит ей с пола упавшая.

Учительница из Брно вдруг с изумлением видит возникшую перед ней, задыхающуюся от бега юную библиотекаршу. Ничего не объясняя – не до того, – Дита выхватывает из ее рук книгу, и учительница чувствует моментальное облегчение. Когда через мгновение она приходит в себя и хочет поблагодарить Диту, та уже далеко – в нескольких метрах. До появления в бараке эсэсовцев осталось всего ничего.

Инженер Мароди, который видел маневр Диты, уже ждет ее за пределами круга детских голов. Он протягивает ей учебник по алгебре, и она выхватывает его на лету, словно эстафетную палочку. И вот уже Дита отчаянно летит к противоположной от входа стене барака, где – нарочито старательно – метут пол дежурные.

Она успевает одолеть только половину пути, когда замечает, что голоса детей в как бы игровых группах затихают, гаснут, словно пламя свечи от ворвавшегося в распахнутое окно ветра. И ей вовсе не нужно оборачиваться, чтобы понять: дверь барака открылась, входят эсэсовцы. Она резко пригибается, падает и оказывается на полу посреди группы одиннадцатилетних девчонок. Книги Дита засовывает под одежду и обнимает себя руками, удерживая томики на груди, чтобы не выпали. Девочки, оживившись, так и стреляют в нее глазами, а их учительница, не на шутку испугавшись, легким движением подбородка подает им сигнал: пойте, не останавливайтесь! У самого входа эсэсовцы несколько секунд оглядывают пространство барака, а потом выплевывают одно из самых своих любимых словечек:

– *Ахтунг!*

Воцаряется тишина. Смолкают песенки и «вижу, вижу». Все замирает. Но кое-что продолжает звучать: кто-то чисто высвистывает Пятую симфонию Бетховена. Уж на что сержант Пастор умеет наводить жуть, но и он, похоже, спокоен, потому что на этот раз рядом с ним стоит некто еще более ужасный, чем он сам.

– Да поможет нам Бог, – доносится до Диты шепот учительницы.

До войны мать Диты играла на фортепьяно, поэтому девочка хорошо знает Бетховена. Она думает, что ей уже приходилось слышать подобное весьма специфическое исполнение этого композитора – с точностью меломана свистом исполненную мелодию. И слышала она такое исполнение после трехдневного, без воды и еды, путешествия в наглухо закрытом и битком набитом людьми товарном вагоне, из гетто Терезина, в котором их семья прожила целый год и куда их депортировали, изгнав из Праги. В Аушвиц-Биркенау поезд прибыл ночью. Нико-

гда не забудет она дребезжанье и лязг открывающейся железной двери вагона. Никогда не забудет первый глоток морозного воздуха, смешанного со смрадом горелого мяса. Никогда не забудет сияния света, режущего глаза в ночи: перрон освещался не хуже операционной. И сразу же – приказы, грохочущие по стенам вагонов приклады, выстрелы, звуки свистков, визг. И среди всего этого гомона – безусловно, с абсолютным спокойствием высвистываемая симфония Бетховена, исполняемая неким гауптштурмфюрером, на которого даже эсэсовцы посматривали с явной опаской.

Тогда этот офицер прошел совсем рядом с Дитой, и она заметила и его безукоризненную форму, и белоснежные перчатки, и орден Железного креста на кителе – награду, которую можно получить только на поле боя. Он остановился перед кучкой женщин с детьми и затаенной в белую перчатку рукой дружески похлопал по плечу одного из малышей. И даже улыбнулся. Жестом указал на двух четырнадцатилетних братьев-близнецов – Зденека и Жирку, – и капрал поспешил вывести обоих из строя. Их мать уцепилась за полу кителя охранника, пала ниц и на коленях принялась умолять, чтобы сыновей не забирали. Офицер вмешался и с полной невозмутимостью заявил:

– Никто не удостоит их большим вниманием, чем дядюшка Йозеф.

В определенном смысле так оно и было. Никто во всем Аушвице и волоска не смел тронуть с головы близнецов, коллекцию которых – как материал для экспериментов – собирал доктор Йозеф Менгеле. Никто, кроме доктора Менгеле, не удостоит их большим вниманием в ходе ужасающих генетических экспериментов, цель которых – найти рецепт обеспечения рождаемости близнецов у немецких женщин и тем самым повышения численности истинных арийцев. Девочка помнит, как удалялся по перрону Менгеле, ведя за руку близнецов и по-прежнему беззаботно насвистывая.

Ту самую симфонию, которая звучит теперь в блоке номер 31.

Менгеле...

Дверь комнатки старшего по блоку с легким скрипом открывается, и *блокэльтестер* Хирш выходит из крошечной каморки, всем своим видом изображая радушие и удивление по поводу неожиданного визита эсэсовцев. Приветствуя офицера, он звонко щелкает каблуками; это не что иное, как принятый знак уважения к воинскому званию, но в то же время – способ продемонстрировать воинскую доблесть, ничем не подточенную, не сломенную. Менгеле едва удостоивает его взглядом – он рассеян и, заложив руки за спину, по-прежнему высвистывает симфонию, словно все происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения. Унтер-офицер, известный как Пастор, внимательно обводит барак своими белесыми, практически прозрачными глазами. Его опущенные руки все еще прячутся за обшлагами мундира, но в непосредственной близости от висящей на поясе кобуры с пистолетом.

Якопек не ошибся.

– Инспекция, – негромко произносит обершарфюрер.

Сопровождавшие его эсэсовцы повторяют приказ: он разрастается, усиливается, превратившись в гром, который обрушивается на барабанные перепонки узников. Диту, стоящую в центре девчачьего хоровода, пробирает дрожь. И она еще крепче обнимает себя руками, под которыми похрустывают прижатые к ребрам книжки. Если при ней найдут книги, это конец, это будет ее смертным приговором.

– Но это несправедливо... – еле слышно шепчут ее губы.

Ей же всего четырнадцать: жизнь только начинается, ей еще столько всего нужно успеть сделать! Она же ничего еще и начать толком не успела. И вспоминает мамины слова, которые та годами без устали повторяет всякий раз, когда девочка жалуется на судьбу: «Это война, Эдита... Это все война...»

Она так юна, что почти не помнит, каким был мир в те времена, когда войны еще не было. И точно так же, как здесь, в лагерном бараке, где у них уже отнято все, Дита под платьем прячет

книжки, в памяти ее спрятан альбом с фотографиями – образами прошлого. Она закрывает глаза и пытается вспомнить, какой была жизнь, когда не было страха.

Она видит саму себя, девятилетнюю, застывшую перед курантами на Ратушной площади Праги в начале 1939 года. Скосив взгляд, девочка разглядывает древний образ смерти – скелет: царящего над крышами стража, озирающего с высоты башни весь город своими темными, как черные кулаки, глазами.

В школе им рассказывали, что огромные куранты – всего лишь безобидный механический шедевр, созданный маэстро Ганушем более пяти веков назад. Но услышанное от бабушки старинное предание навевало грустные мысли: король повелел искусному мастеру Ганушу создать куранты, наступление каждого часа в которых сопровождалось бы появлением движущихся фигур, а потом приказал своим стражникам ослепить мастера, чтобы тот уже никогда не смог сотворить подобное чудо ни для какого другого монарха. Движимый жаждой мести, часовых дел мастер засунул свою руку в механизм курантов и остановил его. И когда огромные шестерни зажевали его руку, часовой механизм сломался, и починить его не удавалось в течение многих лет. Иногда по ночам Диту мучают кошмары, в которых оторванная рука маэстро вращается, зажата зубчатыми шестернями часового механизма, перемещаясь то вверх, то вниз. Скелет звонит в колокольчик, и начинается механическое представление: процессия автоматов, призванных напоминать горожанам, что минуты суетливо подталкивают друг друга, да и часы следуют один за другим, как те гигантские фигуры, что век за веком шествуют в раз и навсегда заведенном порядке, появляясь из невероятных размеров музыкальной шкатулки и исчезая в ней. И только теперь Дита, сердце которой сжалось от ужаса и тоски, догадывается о том, что все это еще за пределами понимания девятилетней девочки, которая думает, что время – это такая плотная очередь, такое неподвижное липкое море, в котором ничто никуда не движется. И поэтому в девятилетнем возрасте часы внушают страх только в том случае, если рядом с циферблатом изображен скелет.

Вцепившись руками в дряхлые книжки, вполне способные довести ее до газовой камеры, Дита с тоской глядит на ту счастливую девочку, которой была когда-то. Когда они вместе с мамой ходили за покупками в центр города, ей так нравилось останавливаться на Ратушной площади перед курантами, но не для того, чтобы увидеть процессию раскрашенных персонажей, – нужно признать, что скелет пугал ее гораздо больше, чем она сама готова была себе признаться. Останавливаться перед башенными часами ей нравилось потому, что ее забавляло осторожное – исподтишка – разглядывание прохожих, многие из которых оказались в столице проездом, нравилось наблюдать за выражениями их лиц, за их сосредоточенным ожиданием появления механического дефиле при бое курантов. Девочке едва удавалось сдерживать улыбку при виде изумления на лицах зрителей и их глуповатого хихиканья. Она тут же придумывала им прозвища. С ноткой грусти вспоминает Дита о том, что одним из ее любимых развлечений в те времена было придумывать прозвища всем встречным и поперечным, но в первую очередь – соседям и знакомым родителей. И без того долговязую пани Готтлиб, которая имела обыкновение вытягивать шею, чтобы прибавить себе важности, она назвала «пани Жирафа». А обойщика из расположенной на первом этаже лавки, тщедушного, с абсолютно лысой головой, она окрестила «пан Шароголовый». Она помнит, как бежала вслед за трамваем, названивавшим в свой колокольчик, когда состав изгибался на повороте, выезжая на Староместскую площадь, а потом терялся из виду, углубляясь в извилистые улочки квартала Йозефов, а Дита со всех ног пускалась бежать к лавке пана Орнеста, где мама покупала материал на зимнюю одежду для дочки – пальто и теплую юбку. Она до сих пор помнит, как нравилась ей эта лавка, входную дверь которой украшала светящаяся вывеска с разноцветными кругляшками: огоньки загорались по очереди – снизу вверх, а потом еще и еще раз, все с начала.

Если бы она не была просто маленькой девочкой, бегавшей по улицам, как в коконе, в счастливом детском неведении, она могла бы, проносясь мимо продавца газет, заметить

выстроившуюся перед его прилавком длинную очередь и обратить внимание на набранный огромными буквами заголовок передовицы стопками сложенной газеты «Лидове новины». Заголовок не оповещал, а просто кричал: «Правительство выступает за ввод германской армии в Прагу».

Дита на секунду приоткрывает глаза и видит эсэсовцев, что-то вынюхивающих в дальнем конце барака. Они даже приподнимают детские рисунки, пришпиленные к стенам самодельными кнопками – шипами колючей проволоки: проверяют, нет ли там чего-нибудь запрещенного. Никто не произносит ни слова, и шум рыскающих по всем углам охранников явственно слышится в огромном бараке – сыром, насквозь пропахшем плесенью. И страхом. Это и есть запах войны. Из того немногого, что хранит память Диты о детстве, всплывает запах мирного времени: мир для нее пахнет густым куриным супом, который варится на плите весь пятничный вечер. И как же забыть вкус хорошо прожаренного барашка, яичной лапши, грецких орехов... Длинные школьные дни, а вечером – игры в классики или в прятки вместе с Маргит и другими одноклассницами, образы которых уже стерлись в ее памяти... И так было, пока все не пришло в полный упадок.

Перемены были не резкими, постепенными. Хотя, нужно признать, был и конкретный день, когда детство ее вдруг захлопнуло двери, закрылось, словно пещера Али Бабы, и Дита осталась похороненной под толстым слоем песка. Этот день она запомнила очень отчетливо. Даты не знает, но это случилось 15 марта 1939 года. В тот день Прага встретила рассвет с содроганием.

Хрусталики на люстре в гостиной позвякивали, но Дита понимала, что это не из-за землетрясения, ведь никто никуда не бежал и не было никакого переполоха. Ее отец завтракал – пил свой чай и читал газету, стараясь изобразить на лице безразличие, словно ничего особенного не происходило.

Дита вышла из дома и отправилась в школу, куда ее, как всегда, повела мама, и тут город задрожал. Гул послышался, когда они свернули к площади Венсеслао, на подходе к которой земля вибрировала так сильно, что ступням стало щекотно. По мере того как они с мамой подходили ближе, глухой гул становился все громче, и Дита оказалась в высшей степени заинтригована этим странным феноменом. Дойдя до проспекта, они с мамой не смогли пересечь его: тротуары были забиты плотной толпой, и взгляды Диты и ее мамы уперлись в сплошную стену из облаченных в пальто спин, затылков и шляп.

Мама остановилась резко, как вкопанная. Лицо ее вдруг посуровело и сразу состарилось. Она взяла дочку за руку, чтобы пойти назад и попытаться обойти возникшее по пути в школу препятствие, но Дита не смогла сдержаться любопытства: непременно нужно было выяснить, в чем тут дело. Одним рывком выдернула она свою руку из маминой. Поскольку девочка была невысокой и худенькой, ей никакого труда не составило прошмыгнуть сквозь толпу, запрудившую тротуар, и пробраться в первый ряд – как раз туда, где полицейские образовали живой кордон, переплетая руки.

Стоял оглушительный шум: один за другим ехали серые мотоциклы с колясками, а на них – солдаты в блестящих кожаных куртках и с мотоциклетными очками, висящими на груди. Солдатские каски сверкали на солнце – новенькие, только что сошедшие с заводских конвейеров центральной Германии: ни царапины по свежей краске, ни единой вмятины от пули. За мотоциклами двигались боевые машины пехоты с установленными на броне огромными пулеметами, а за ними громыхали танки, продвигавшиеся по проспекту с грозной медлительностью слонов.

Дита вспоминает, что тогда ей показалось, будто участники этого парада – люди-автоматы, подобные фигурам на курантах с Ратушной площади, и что через несколько секунд дверца за ними захлопнется, и все исчезнет. И перестанет содрогаться земля. Однако на этот

раз механическая процессия была образована не автоматами, а людьми. В последующие годы она поймет, что разница между теми и другими не всегда заметна.

Ей было тогда всего девять лет, но сердце ее сжалось от страха. Не слышно было ни звуков духового оркестра, ни взрывов хохота, ни обычной болтовни, ни свиста... Это был безмолвный парад. Для чего здесь люди в военной форме? Почему никто не смеется? Внезапно ей пришла в голову мысль: молчаливый парад напоминает похоронный кортеж.

Железная рука матери нашла ее и волоком вытащила из-за спин людей. Они пошли в противоположную сторону, и Прага вновь предстала перед глазами Диты живым городом, каким всегда и была. Как будто девочка очнулась от кошмара и с облегчением увидела, что все по-старому, все вокруг на своем месте.

Но земля под ее ногами продолжала вибрировать. Город содрогался. Мать тоже дрожала. Она тянула дочку за руку, стремясь побыстрее оставить позади парад и спастись от когтистой лапы войны; она торопилась, постукивая каблучками модных лакированных туфелек. Дита вздыхает, все так же крепко прижимая к груди книжки. Она с грустью признает, что именно в тот день, а вовсе не в день первых месячных, рассталась со своим детством, потому что именно в тот день перестала бояться скелетов и стародавних историй о руках-призраках и начала бояться людей.

2

Практически не обращая внимания на узников, эсэсовцы приступили к обыску: их интересовали стены, пол и предметы. Немцы, они ведь такие, методичные: сначала – контейнер, потом – его содержимое. Доктор Менгеле обернулся с вопросом к Фреди Хиршу. Тот по-прежнему стоит навтыжку, не сдвинувшись ни на миллиметр. Спрашивается, о чем они там могут беседовать? О чем таком мог поведать своему собеседнику Хирш, чтобы офицер, которого боятся даже эсэсовцы, застыл возле него – ни жеста, ни реакции, но явная заинтересованность? Евреев, которые могут так уверенно разговаривать с человеком, называемым не иначе как Доктор Смерть, по пальцам перечесать; и уж совсем немного тех, у кого при этом не дрогнет голос, кто не выдаст себя каким-нибудь нервным жестом. Издалека Хирш выглядит вполне естественно – как любой из нас, кому случится остановиться на улице, чтобы поболтать с соседом.

Кое-кто поговаривает, что Хирш – это человек, которому страх неведом. Другие утверждают: все дело в том, что он нравится немцам, ведь Хирш сам немец. Есть и такие, кто намекает на какую-то грязь, скрытую за его безукоризненным обликом.

Пастор – именно он руководит обыском – делает жест, смысл которого Дите непонятен. Если это встать по стойке смирно, то как же ей удастся удержать книги?

Первая заповедь, которую слышит в лагере новичок от старожила, сводится к тому, что каждый узник должен ясно осознать свою цель: выжить. Проживешь еще несколько часов, и они сложатся в еще один день, а этот день, присоединившись к уже прожитым, станет еще одной неделей. И вот так потихонечку-полегонечку: не строить долгосрочных планов, никогда не придумывать себе великих целей, видеть только одну, самую скромную – жить каждую следующую секунду, прожить ее, выжить. Жить – глагол, имеющий формы исключительно настоящего времени.

И вот он – ее последний шанс: последняя возможность засунуть руку под одежду, вытащить книги и потихоньку подпихнуть их под пустую табуретку в метре от себя. Когда прозвучит команда и узники построятся, книги, конечно, будут найдены, но никто не сможет обвинить именно Диту: виновны будут все – и вместе с тем никто. Всех сразу в газовую камеру не отправят. Хотя, без всякого сомнения, блок 31 закроют. Дита задается вопросом: это действительно важно? Ей говорили, что поначалу некоторые учителя были против: какой смысл обучать детей, которые с большой долей вероятности живыми из Аушвица не выйдут? Какой смысл рассказывать им о белых медведях или заставлять учить таблицу умножения, не лучше ли поговорить с ними о трубах крематория, коптящих небо черным дымом сожженных человеческих тел в нескольких метрах от барака? Но Хирш скептиков убедил – своим авторитетом и своим энтузиазмом. Он сказал им, что в этой пустыне блок 31 станет оазисом для детей.

«Оазис или мираж?» – некоторые до сих пор задаются этим вопросом.

Самое логичное для нее – избавиться от книг в борьбе за собственную жизнь. Но она сомневается.

Унтер-офицер козыряет перед своим командиром и получает ряд четких распоряжений, которые незамедлительно и властно оглашает:

– Становись! Смирно!

И начинается всеобщее движение поднимающихся людей. Как раз тот самый миг суматохи, который нужен, чтобы спастись. Стоило ей только слегка ослабить руки, как книжки уже заскользили под блузкой вниз, под юбку, вот-вот окажутся на коленях. Но Дита успевает вновь обхватить себя, на этот раз в области живота, и делает это с такой силой, что раздается хруст, как будто на животе есть ребра. С каждой секундой промедления в решении избавиться от книг ее жизнь подвергается все большей и большей опасности.

Резкими отрывистыми командами эсэсовцы требуют полной тишины и абсолютной неподвижности – сходить с занимаемого места запрещено. Немцев больше всего на свете раздражает беспорядок. Беспорядок для них совершенно невыносим. В самом начале, как только был запущен процесс окончательного решения еврейского вопроса, массовые кровавые «акции» вызывали отторжение у многих офицеров СС. Им было трудно выносить груды мертвых тел вперемешку с еще агонизирующими, их утомляла необходимость добивать раненых, одного за другим, контрольными выстрелами, им претило кровавое месиво под сапогами, ступающими по поверженным телам, выводили из себя руки умирающих, вьюнками охватывающие голенища. Однако с того самого момента, когда был найден алгоритм, найден способ, позволяющий истреблять евреев эффективно и без прежнего хаоса в центрах, подобных Аушвицу, массовое истребление людей, приказ об осуществлении которого поступал из Берлина, проблемой быть перестало. Оно превратилось в рутину – в еще одно порожденное войной обыденное действие.

Девочки перед Дитой поднялись на ноги – теперь эсэсовцы ее не видят. Она просовывает правую руку под блузку и нащупывает учебник геометрии. Коснувшись книги, чувствует шероховатость страниц, проводит пальцем по бороздкам акациевой камеди под отошедшим корешком. И думает: книга без корешка как вспаханное поле.

Дита закрывает глаза и сильно-сильно прижимает к себе книги. И осознает то, о чем уже догадывалась с самого начала: не сделает она этого. Она – библиотекарьша, хранительница книг блока 31. Не может она подвести Фреди Хирша, ведь она сама просила его, почти требовала, чтобы он поверил в нее, доверил книги ее попечению. И он уступил ей – достал восемь подпольных книг и сказал: «Вот тебе твоя библиотека».

Наконец Дита с осторожностью поднимается. Одной рукой она крепко обхватывает грудь, удерживая книги, не давая им с грохотом посыпаться на пол. И встает в центр группы девочек. Они слегка прикрывают ее, но не совсем: Дита выше ростом, поэтому ее странная и подозрительная поза бросается в глаза.

Прежде чем начать осмотр узников, унтершарфюрер отдает несколько приказов, и двое эсэсовцев исчезают в кабинете старшего по блоку, *блокэльтестера*. Дита думает о других книгах – тех, что остались в камерке Хирша, и понимает, что *блокэльтестер* сильно рискует. Если эти книги найдут – для него все будет кончено. С другой стороны, тайник в его кабинете кажется ей надежным. В комнатке настелен дощатый пол, и одна из досок, в самом углу, вынимается и вновь кладется на место, прикрывая тайник. Под этой доской расположена внушительных размеров прямоугольная яма, достаточная для сокрытия небольшой библиотеки. Книги в тайнике прилегают друг к другу с миллиметровой точностью, полностью заполняя пространство, так что ни в том случае, если на эту доску наступишь, ни если постучишь по ней костяшками руки, характерного для полости звука не услышишь, а это значит, что ничто не может навести на мысль, что под доской расположен тайник.

Дита стала библиотекарем всего несколько дней назад, но самой ей кажется, что уже прошли недели или даже месяцы. В Аушвице время не бежит, а еле ползет. Стрелки часов поворачиваются с неизмеримо более низкой, по сравнению со всем остальным миром, скоростью. Всего несколько проведенных в Аушвице дней делают из новичка старожил лагеря. А еще они могут враз состарить юношу или превратить здоровяка в доходягу.

Все то время, пока эсэсовцы копаются в его комнатке, Хирш не сходит со своего места. Менгеле, сложив руки за спиной, отошел от него на несколько шагов и насвистывает Листа. Двое эсэсовцев ожидают окончания обыска в кабинете старшего по блоку перед дверью: они уже расслабились и лениво откинули головы назад. Хирш все так же напряжен и тянется вверх, словно древко знамени. Он и есть знамя. И чем более небрежны позы эсэсовцев, тем более тверд и неподвижен Хирш. Он не упустит ни одной, даже самой малой, возможности показать – позой или жестом, какими бы незначительными они ни были, – твердость еврея. Он убежден в том, что евреи гораздо сильнее и крепче нацистов, и как раз по этой причине нацисты их

боятся. По этой причине хотят их уничтожить. И одолели они евреев только потому, что нет сейчас у евреев собственной армии, но, по твердому убеждению Хирша, подобная ошибка больше никогда не повторится. У него нет ни малейшего сомнения: когда все это закончится, они создадут армию, и армия эта будет несокрушима.

Два эсэсовца выходят из его комнатки; у Пастора в руках листки бумаги. Кажется, больше ничего подозрительного обнаружено не было. Менгеле бросает на них взгляд и презрительным жестом возвращает унтер-офицеру, да так небрежно, что бумаги чуть не падают на пол. Это рапорты о функционировании блока 31, которые старший по блоку составляет и подает администрации лагеря. Менгеле и так хорошо с ними знаком, поскольку пишущие они как раз для него.

Пастор снова засовывает руки в несколько потрепанные рукава своего мундира. Приказы он отдает тихо, но охранники подскакивают, словно от толчка пружины, и вся свора охотников бросается на поиски добычи. Они резво направляются к узникам, на пути яростно расшвыривая табуретки. Детей и учителей-новичков охватывает ужас, прорываясь тоскливыми всхлипами и рыданием. Старожилы встревожены в меньшей степени. Хирш со своего места не сдвигается ни на миллиметр. Уединившись в углу барака, Менгеле издали наблюдает за действием.

Старожилы знают, что дело не во внезапном всплеске вандализма, что нацисты не сошли вдруг с ума и не станут сыпать автоматными очередями направо и налево. То, что происходит, – рутина войны – и пинать табуретки – просто часть процесса. Крики тоже. Даже удар-другой прикладом. Ничего личного. Попрание табуреток – всего лишь предупредительная мера, пролог к тому, что спустя мгновение с такой же легкостью могут быть попораны человеческие жизни. Убийство на войне тоже является рутинной.

Добежав до первой группы узников, дикая охота резко тормозит. Когда к патрульным-охотникам присоединяется старший по званию, сценарий проверки возобновляется, но теперь как бы в режиме замедленной съемки. На каждом шагу охранники останавливаются, внимательно осматривая узников, кое-кого обыскивают, поднимают головы то вверх, то вниз в поисках бог знает чего. Каждый узник старается смотреть прямо перед собой, но украдкой косится на того, кто рядом.

Одной из учительниц приказывают выйти вперед. Эта высокая женщина преподает рукоделие: именно ее стараниями дети творят маленькие чудеса из старых шнурков, щепочек, ломаных ложек и расползающихся кусочков ткани. Она не понимает, что ей говорят, не может расчленить фразы на слова, но солдаты кричат на нее, и один из них ее толкает. Скорей всего, без всякой на то причины. Кричать и толкать – это тоже часть процедуры. Высокая и худенькая учительница кажется тонкой тростинкой, которая того и гляди с сухим треском переломится. Наконец еще один толчок и еще один выкрик возвращают ее на место в шеренгу детей.

Охранники снова идут вперед. Рука Диты уже устала, но она еще крепче прижимает к себе книги. Эсэсовцы останавливаются возле соседней группы, в трех метрах от нее. Пастор задирает подбородок и приказывает мужчине из той группы выйти вперед.

Первый раз в жизни Дита вглядывается в профессора Моргенштерна, человека совершенно безобидного вида, который, судя по складкам кожи под подбородком, когда-то был весьма упитан. У него седые вьющиеся волосы, одет он в донельзя заношенный костюм в тонкую полоску, болтающийся на нем, как на вешалке, на лице – круглые очки от близорукости. Дита не очень хорошо понимает адресованные профессору слова Пастора, но видит, как тот протягивает свои очки эсэсовцу. Обершарфюрер берет их в руки и внимательно разглядывает; никому из узников не разрешается иметь при себе личные вещи, но и никто нигде не прописал, что очки от близорукости являются предметом роскоши. При всем при этом эсэсовец вертит их так и этак, как будто не понимает, что оправа вовсе не золотая, что очки не обладают никакой ценностью за исключением той очевидной пользы, что позволяют старому архитектору хоть что-то вокруг себя разглядеть. Наконец Пастор протягивает очки их владельцу, но в тот

момент, когда профессор хочет их взять, роняет их, и очки разбиваются от удара о табуретку, даже не долетев до пола.

– Дурак криворукый! – орет на Моргенштерна унтер-офицер.

Доктор Моргенштерн покорно наклоняется, чтобы подобрать с пола разбитые очки. Когда он разгибается, у него из кармана вываливается пара листов мятой бумаги, и ему вновь приходится согнуться. Пастор с плохо скрываемым раздражением наблюдает за этими неловкими движениями. Потом звучно щелкает каблуками и возобновляет проверку.

Менгеле, все так же стоя позади всех, внимательно, не пропуская ни одной детали, наблюдает за происходящим. Эсэсовцы, увенчанные фуражками с черепом на околышах и попирающие своими сапогами все подряд, медленно продвигаются вперед, буравя узников глазами, в которых сверкает жажда насилия. Дита чувствует их приближение, но не решается взглянуть в их сторону даже искоса. К несчастью, патруль останавливается как раз возле ее группы, и Пастор оказывается шагах в четырех-пяти от нее. Дита замечает, что девочки перед ней дрожат, как травинки на ветру. У нее самой по спине течет холодный пот. Дита понимает, что теперь уже ничего не поделаешь: она возвышается над всеми девочками, к тому же она – единственная, кто не стоит по стойке смирно: с опущенными и прижатыми к телу руками. Ее странная поза – вполне очевидно, что рукой она что-то прижимает к телу, – выдает Диту с головой. Нет, у нее нет никакой возможности избежать безжалостного взгляда Пастора, одного из тех нацистов-трезвенников, опьяняет которых, по примеру Гитлера, только ненависть.

Дита смотрит прямо перед собой, но кожей чувствует, как ее пронзает взгляд Пастора. Страх сворачивается комком в горле, ей не хватает воздуха, она задыхается. Слышит мужской голос и уже готовится выйти из группы.

Все кончено...

Но нет, еще нет. Это не голос Пастора, отдающего приказ ей, это совсем другой голос – заискивающий, глухой. Это голос униженного профессора Моргенштерна.

– Извините, господин унтер-офицер, вы позволите мне вернуться на место? Если вы ничего не имеете против, конечно. В ином случае я, естественно, останусь здесь, пока не будет отдано распоряжение. Последнее, что бы мне хотелось, так это послужить причиной самого что ни на есть малейшего неудобства...

Пастор поворачивает голову и направляет свой разъяренный взгляд в сторону никчемного человечки, который осмелился обратиться к нему, не испросив на то позволения. Старый профессор снова водрузил на нос очки – теперь с треснувшим стеклом – и, стоя вне строя, обращает к эсэсовцам свое бесконечно доброе, простецкое лицо. Пастор несколькими шагами преодолевает разделяющее их расстояние и оказывается возле профессора, солдаты следуют за ним. В первый раз он срывается на крик.

– Идиот! Старая жидовская калоша! Если через три секунды ты не встанешь на свое место, я тебя пристрелю!

– Слушаюсь, как вам будет угодно, – кротко отвечает ему Моргенштерн. – Умоляю простить меня, я никоим образом не хотел вас беспокоить, я просто подумал, что лучше спросить, чем по незнанию каким-либо своим действием нарушить дисциплину, нарушить правила, поскольку мне совершенно не по вкусу поступать вопреки заведенному порядку и единственным моим желанием является угождать и служить вам неукоснительно...

– В строй, идиот!

– Есть, господин унтер-офицер. Я в полном вашем распоряжении, господин унтер-офицер. Покорнейше прошу прощения... В мои намерения отнюдь не входило прерывать вас, я всего лишь...

– Заткнись, иначе я сию же секунду пушу пулю тебе в башку! – орет на него эсэсовец, полностью выходя из себя.

Профессор отходит назад, удрученно качая головой, и встает в строй своей группы. Пастор же не заметил, что его собственные подчиненные сорвались с места вслед за ним, и когда он, будучи вне себя от ярости, резко разворачивается, то с треском сталкивается лоб в лоб со своими людьми. Разыгрывается сцена, достойная комедийного кинематографа: нацисты, стучающиеся друг о друга, как бильярдные шары. Кое-кто из малышей не может удержаться от смеха, и учителя, испугавшись хихиканья, движениями локтей призывают их к порядку.

Обершарфюрер, заметно выведенный из равновесия, украдкой смотрит на своего командира – мрачного капитана медицинской службы, который со скрещенными за спиной руками продолжает пребывать в темном углу у входа в барак. Пастор не может видеть его лица, но хорошо представляет себе разлитое по нему презрение. Ничто не вызывает в Менгеле большего неудовольствия, чем посредственность и некомпетентность.

Унтер-офицер яростным жестом отгоняет от себя солдат и возобновляет прерванную процедуру проверки. Он проходит перед группой Диты, и она еще крепче прижимает к себе затекшую руку. Сжимает зубы. Зажимает все, что только может. Если бы она была на это способна, то прижала бы даже уши. Но так как Пастор выведен из состояния равновесия и ему кажется, что он эту группу уже осмотрел, то он идет к следующей. Звучат еще крики, продолжают толчки и тычки, кого-то обыскивают... а потом весь патруль медленно покидает их сектор.

Библиотекарша медленно восстанавливает дыхание, хотя опасность еще не полностью миновала – пока патруль не уйдет из барака, риск остается. Это как клубок ядовитых гадюк – могут вернуться в любой момент, когда меньше всего этого ждешь. Дита плотнее стискивает книжки, вжимает их в тело и в очередной раз радуется, что грудь у нее не очень пышная. Ее полудетские грудки пока что позволяют незаметно прятать томики на себе. Рука, неподвижная и напряженная в течение долгого времени, затекла и болит. Она чувствует покалывание, но не решается ее пошевелить: а вдруг книги с грохотом упадут на землю? Чтобы не думать о боли в руке, Дита принимается вспоминать, какими путями привела ее судьба в блок номер 31.

Прибытие транспорта, с которым она приехала в Аушвиц, совпало по времени с последними приготовлениями к показу театральной постановки по сказке «Белоснежка и семь гномов». Спектаклями обычно отмечалась Ханука – древний праздник в ознаменование восстания ранее покорных грекам еврейских воинов-маккавеев. Перед утренней проверкой мать Диты случайно столкнулась со своей знакомой по гетто в Терезине, пани Турновской, владелицей фруктово-овощной лавки из Злина. Случайная маленькая радость посреди безбрежных страданий.

Именно эта приветливая женщина, овдовевшая в самом начале войны, и поведала им, что, как она слышала, в этом лагере есть детский блок – школа, куда принимают детей до тринадцати лет. Когда мать сказала, что Эдите уже четырнадцать, пани Турновская ответила, что директор школы был столь предусмотрителен, что убедил немецкую администрацию лагеря в том, что ему понадобятся несколько помощников-ассистентов, которые будут помогать поддерживать порядок в бараке. А в ассистенты он берет подростков от четырнадцати до шестнадцати лет.

– Там у них и построение проводится под крышей, так что дети не мокнут и не дрожат от холода по утрам. И рабочий день короче – не от зари до зари. Даже пайки чуть побольше.

Пани Турновская, владевшая информацией, казалось, обо всем и всех, знала также, что Мириам Эдельштейн должна занять место заместителя директора, Фреди Хирша.

– Мириам Эдельштейн живет в моем бараке, мы знакомы, идем поговорим.

Мириам встретила их по дороге: она быстро, чуть ли не бегом, шла по *лагерштрассе*, главному проспекту лагеря, рассекавшему его от края до края. Она явно торопилась и была в дурном расположении духа; дела у нее не ладились ровно с тех пор, как они с мужем покинули гетто в Терезине, где Якуб занимал пост президента Еврейского совета. А по приезде сюда

его отделили от группы и вместе с другими политзаключенными отправили в старый лагерь, Аушвиц I.

Пани Турновская тут же принялась расписывать Мириам все достоинства Диты, как будто имела дело с покупателем черешни. Но еще прежде чем та успела завершить свой гимн, Мириам Эдельштейн решительно ее остановила.

– Квота ассистентов полностью выбрана, кроме того, многие еще до вас просили меня о том же самом.

И поспешила прочь.

Но почти исчезнув в мутной перспективе бесконечной *лагерштрассе*, вдруг остановилась. И вернулась назад. Женщины, все три, были так ошеломлены решительным отказом, что ни на сантиметр не успели сдвинуться с места.

– Вы сказали, что эта девочка прекрасно говорит по-чешски и по-немецки и хорошо читает?

По воле случая именно в то утро внезапно скончался суфлер спектакля, премьеры которого должна была состояться вечером того же дня в блоке 31.

– Нам срочно нужно найти суфлера... Она сможет выступить в этой роли?

Все взгляды обратились к Дите.

Конечно же, она сможет!

В тот вечер Дита впервые переступила порог блока 31. На первый взгляд он был одним из тридцати двух одинаковых бараков сектора ВІІb, расположенных двумя рядами по шестнадцать строений в каждом, между которыми проходила главная улица, *лагерштрассе*, если слякотное болото под ногами позволительно считать улицей. То есть это была еще одна из ряда одинаковых прямоугольных конюшен, внутри которых из конца в конец над земляным полом проходила сложенная из кирпича продольная печка-труба, делившая пространство барака на две равные половины. Но Дите сразу же пришлось убедиться в том, что блок 31 имеет одно важное отличие от других бараков: вместо рядов трехэтажных нар, где спали узники, в этом бараке из мебели были только табуретки; а вместо подгнившей древесины стены покрывали рисунки, изображающие эскимосов и гномов – персонажей «Белоснежки».

Из табуреток был составлен импровизированный партер. В бараке царил энергичный хаос: туда и сюда сновали добровольные помощники с целью превратить жалкий барак в театр. Одни заканчивали расставлять табуретки, другие приносили и уносили разноцветные ткани, третьи проводили последнюю репетицию с детьми, повторявшими заученные наизусть тексты. В дальнем, противоположном от входа конце барака ассистенты прилагали усилия к сооружению из матрасов подобия небольшой сцены, а две женщины развешивали зеленую ткань, призванную изобразить лес. В ту минуту Дита припомнила содержание последней прочтенной ею до отъезда из Праги книги. Она называлась «Охотники за микробами», и ее автор, Поль де Крайф, рассказывал о жизни великих ученых, предметом исследования которых являлись бактерии и другие микроскопические организмы. И тут же Дита почувствовала себя в огромном бараке как какой-нибудь Кох, Грасси или Пастер, наблюдающий сквозь увеличительное стекло за хаотичными движениями малюсеньких существ, так оживленно снующих в рамках вселенной, размерами не превышающей каплю воды. Подобно крохотному пятнышку плесени, в этой дыре, вопреки всем разумным предположениям, жизнь была ключом.

Для нее была приготовлена суфлерская будка – маленький черный куб из папье-маше прямо перед сценой. Подошел режиссер спектакля Рубинек и предупредил, чтобы она с особым вниманием отнеслась к маленькой Саре, потому что когда Сара нервничает, то автоматически переходит на чешский – немецкие слова застревают у нее в горле. А одним из поставленных нацистами условий для разрешения спектакля был язык: постановка должна идти на немецком.

О том спектакле Дита запомнила вот что: как она нервничала перед началом, груз ответственности на ее плечах в набитом публикой бараке и внушающее опаску присутствие в первом ряду высших руководителей Аушвица П/Биркенау, – коменданта Шварцгубера и доктора Менгеле. Она видела их через дырочку в картоне суфлерской будки, и ее поразила их реакция – смеются и аплодируют. Такое впечатление, что зрители в восторге от представления. Неужели это те же люди, которые каждый день отправляют на смерть тысячи детей? Да, это они.

Из всех спектаклей, поставленных в блоке 31, именно «Белоснежка», сыгранная в декабре 1943 года, навсегда осталась в памяти тех, кто присутствовал в тот день на представлении, выжил и смог о нем рассказать.

В самом начале представления волшебное зеркало, которое должно было ответить на вопрос мачехи, кто же первая красавица во всем королевстве, вдруг стало заикаться:

– Самая красивая – э-э-э-это ты, моя ко-ро-ро-ро-ле-ле-ле-ва...

Партер засмеялся. Все подумали, что речь идет о шутке, придуманной постановщиком. Диту в картонной будке прошибло потом. Заиканье было обусловлено не сценарием, а волнением мальчика, озвучивавшего зеркало, но любой намек на юмор воспринимался и подхватывался с небывалым воодушевлением, потому что смех в Аушвице был еще более редок и ценен, чем хлеб. И людям отчаянно хотелось посмеяться.

Когда Белоснежка была заведена в лес и оставлена там, смех умолк. Роль Белоснежки играла девочка с грустными глазами; наложенные на ее лицо розоватые тени только подчеркивали ее печальный и незащищенный облик. Затерянная в лесу, она выглядела такой хрупкой, а тоненький голосок, которым она взывала о помощи, казался таким трогательным, что горло Диты перехватило от жалости к себе – она ведь и сама такая же беспомощная и незащищенная в этом богом забытом уголке Польши, она и сама потерялась во враждебном лесу, кишасщем волками в военной форме.

Разрозненные смешки, звучавшие то по поводу каких-то оговорок, забытых и перепутанных реплик, то в связи с неловкостью охотника, который оставляет Белоснежку в лесу на произвол судьбы (Дита помнит, что горе-охотник чуть кубарем не скатился со сцены), мгновенно замерли, стоило только маленькой Белоснежке запеть. И в этот момент все те, кто до сих пор не мог взять в толк, почему, имея возможность выбирать на эту роль из нескольких дюжин девочек, остановились именно на такой неказистой и бледненькой, с личиком, как у старинной фарфоровой куклы, – все они получили ответ. Голос ее был настоящим чудом, и сладкие песенки Белоснежки, заимствованные из мультфильма Уолта Диснея, наполнились такой силой, причем без какого бы то ни было иного сопровождения, кроме голосовых связок этого ребенка, что у многих слушателей ослабили механизмы эмоциональной защиты. Когда люди, как скот, скучены, помечены клеймами и их массово забивают, то они и думают о себе, как о скотине. А когда смеются или плачут, то вспоминают, что они – все еще люди.

Наконец в сопровождении аплодисментов появился принц-освободитель – высоченный на фоне других актеров, широкоплечий, с влажно поблескивающими зачесанными назад волосами, словно скрепленными бриолином: Фреди Хирш собственной персоной. Белоснежка под воздействием самого древнего в мире лекарства очнулась ото сна, и под громкие овации зрителей спектакль завершился. Хлопал даже невозмутимый доктор Менгеле, хотя и, что верно, то верно, не снимая белоснежных перчаток.

Тот самый доктор Менгеле, который сейчас по-прежнему стоит в углу блока 31, следя за происходящим своим пронизывающим взором, сложив руки за спиной, как будто не имеет к этому действу никакого отношения. Пастор уводит свой мрачный кортеж охранников все дальше в глубь барака, расшвыривая табуретки, играя на нервах. И выдергивает из строя то одного, то другого заключенного, скорее чтобы поиздеваться, чем обыскать. К счастью, эсэсовцы уже далеко и уходят все дальше, да к тому же они не нашли ни единого предложения, чтобы кого-то задержать. По крайней мере пока.

Инспекция, реализуемая в блоке 31 нацистским патрулем, близится к завершению. Они дошли до противоположного конца барака. Унтер-офицер разворачивается к военному медику, но того в бараке уже нет, он исчез. По идее, охранники должны бы быть довольны: тщательный осмотр не выявил ни подземных туннелей, ни оружия, ни каких бы то ни было иных запрещенных их распоряжением предметов. Однако они в ярости – как раз потому, что не нашли повода для наказания. Эсэсовцы в качестве прощального салюта выкрикивают последние ругательства, яростно отшвыривают попавшего под руку паренька-ассистента, адресуют узникам угрозы стереть их с лица земли и выходят через заднюю дверь барака. На этот раз волчья стая ограничилась тем, что поковырялась носами в палой листве. Они ушли, но еще вернутся.

Когда дверь за ними захлопывается, по бараку проносится вздох облегчения. Фреди Хирш подносит к губам свисток, который все время висит у него на шее, и выдает резкую трель – сигнал к тому, что можно разойтись. Рука Диты онемела до такой степени, что ей едва-едва удается отлепить ее от груди. Болит она так сильно, что из глаз текут слезы, однако и облегчение от того, что все закончилось, настолько велико, что Дита плачет и смеется одновременно.

Людьми овладело какое-то нервное напряжение. Учителя горят желанием обменяться впечатлениями, рассказать о своих переживаниях, объяснить друг другу то, чему каждый из них только что был свидетелем. Дети пользуются возможностью побегать и дать выход пережитому страху. Дита видит, что прямо к ней направляется пани Кризкова. Учительница идет к ней строго по прямой, как носорог. При ходьбе у нее подрагивает висящая мешком, как у индюка, кожистая складка под подбородком. Учительница останавливается в сантиметре от Диты.

– У тебя что, детка, с головой не все в порядке? Ты что, не знаешь, что, как только звучит сигнал тревоги, тебе следует занять место среди ассистентов в глубине барака, а не начинать носиться, как угорелая? Не соображаешь, что ли, что тебя могут арестовать и убить? Не понимаешь, что нас всех могут убить?

– Я сделала то, что мне показалось наилучшим выходом...

– Тебе показалось... А кто ты такая, чтобы менять установленные нами правила? Ты что, думаешь, что все знаешь и понимаешь лучше других? – Лицо пани морщится, собирается в тысячу мелких складок.

– Мне правда очень жаль, пани Кризкова...

Дита сжимает руки в кулаки, стараясь удержаться от слез. Такого удовольствия – расплакаться у нее на глазах – Дита ей не доставит...

– Я напишу отчет о твоём поведении.

– В этом нет необходимости.

Мужской голос с сильным немецким акцентом произнес эти слова по-чешски – медленно, но весомо. Обернувшись, Дита увидела Хирша – чисто выбритого, идеально причесанного.

– Пани Кризкова, время занятий еще не закончилось. Будьте любезны вернуться в свою группу, ваши дети что-то слишком разошлись.

Пани учительница всегда ставила себе в заслугу то, что благодаря ее прямоте руководимая ею группа девочек – самая прилежная и дисциплинированная во всем 31-м блоке. Она не произносит ни слова, хотя и окидывает старшего по бараку негодующим взглядом. Разворачивается и, прямая, как палка, с высоко поднятой головой, величественно удаляется к своим девочкам, затаив в душе обиду. Дита облегченно вздыхает.

– Спасибо, пан Хирш.

– Зови меня Фреди...

– Я очень сожалею о том, что нарушила приказ.

Хирш отвечает ей улыбкой.

– Хорош тот солдат, который не ожидает приказа, а поступает по своему разумению, всегда помня о своем долге и исполняя его.

И прежде чем уйти, он на долю секунды оборачивается и окидывает взглядом книги у нее в руках.

– Я горжусь тобой, Дита. Благослови тебя Господь.

Глядя на Хирша, энергичными шагами удаляющегося от нее, Дита вновь вспоминает вечер постановки «Белоснежки». Пока ассистенты разбирали сцену, она вылезла из своего суфлерского убежища и направилась к выходу, гадая, удастся ли ей еще хоть раз оказаться в этом странном блоке 31, способном превращаться в театр. Но тут ее остановил голос, показавшийся ей смутно знакомым.

– Пстой, девочка...

Лицо Фреди Хирша все еще было в «гриме» – выбелено мелом. Диту очень удивило, что он о ней вспомнил. В еврейском гетто Терезина Хирш заведовал молодежным отделом, но Дита видела его всего пару раз, да и то мельком, когда помогала библиотекарю возить тележку с книгами по этому городу-тюрьме.

– Твое появление в лагере – это просто подарок судьбы! – сказал он тогда.

– Подарок судьбы?

– Именно так! – И он жестом пригласил ее последовать за собой в дальний конец барака, за сцену, где к тому моменту никого уже не осталось. Вблизи глаза Хирша поражали странной смесью мягкости и дерзости, а его чешская речь была отмечена явным немецким акцентом. – Для нашего детского блока мне срочно требуется библиотекарь.

Дита смутилась. Она всего лишь четырнадцатилетняя девчонка, привстающая на цыпочки, чтобы казаться старше.

– Прошу прощения, пан, но здесь, наверное, какое-то недоразумение. Библиотекарем была пани Ситтигова, а я только иногда помогала ей доставлять книги.

Ответственный за блок 31 улыбается своей загадочной улыбкой – доброжелательной и в то же время слегка снисходительной.

– Я уже давно тебя приметил. Это ведь ты толкала тележку с книгами.

– Да, потому что для пани Ситтиговой она была слишком тяжелой, да и колесики плохо катились по булыжнику. Но не более того.

– Ты возила тележку с книгами. А могла бы проводить вечера, лежа на койке в своей комнате, общаясь с подругами или занимаясь своими делами. Но вместо всего этого ты толкала тяжеленную тележку с книгами, чтобы люди могли читать.

Дита молчала и смотрела на него в изумлении, а слова Хирша никакого ответа и не требовали. Он командовал не бараком, он командовал армией. И точно так же, как предводитель народного восстания, поднявшегося с оружием в руках против войск оккупантов, указывает на крестьянина и говорит ему: «Ты будешь полковником», так и он тем вечером торжественно указал на Диту в темном бараке и сказал: «Ты будешь библиотекарем».

А еще прибавил:

– Но это опасно. Очень опасно. Иметь дело с книгами здесь – вовсе не игрушки. Если эсэсовцы схватят кого-нибудь с книгами в руках, такого человека ждет смерть.

Сказав это, он поднял большой палец и вытянул вперед указательный. И направил дуло этого импровизированного пистолета прямо в лоб девочки. Ей хотелось бы остаться невозмутимой, но ее явно взволновала такая ответственность.

– Можете на меня рассчитывать.

– Это большой риск.

– Мне все равно.

– Тебя могут убить.

– Все равно.

Дита приложила усилия к тому, чтобы ее слова прозвучали весомо и убедительно, но цели своей не достигла. Так же не удалось ей унять дрожь в коленях, которая заставляла вибрировать и всю ее тоненькую фигурку. Старший по блоку пристально наблюдал за мелкой дрожью, которую выбивали худенькие ножки Диты в шерстяных чулках.

– Чтобы заниматься библиотекой, требуется храбрец...

Дита залилась краской – ведь ноги так и не переставали дрожать. Чем больше она старалась унять эту дрожь, тем сильнее вибрировали ноги. Кроме того, теперь у нее дрожали еще и руки: отчасти по той причине, что в голове крутились мысли о нацистах, отчасти из-за страха, что Хирш решит, что она испугалась, и передумает. Страх перед страхом – это как нестись сломя голову с вершины холма.

– З-з-значит, вы меня не берете?

– Ну, я вполне уверен, что ты – очень храбрая девочка.

– Но я же вся дрожу! – в отчаянии пролепетала Дита.

В ответ Хирш улыбнулся – той своей особенной улыбкой, как будто бы он наблюдает за несовершенствами мира, с удобствами устроившись в мягком кресле.

– Вот поэтому ты и храбрая. Храбрецы – это не те, кто не боится. Такие люди – безрассудные, они не понимают, что такое риск, и потому подставляются, не осознавая опасности. Всякий, кто не может оценить грозящую ему опасность, заодно подвергает риску и окружающих его людей. Такие мне в нашей команде не нужны. А вот кто мне нужен – так это тот, кто боится, но не отступает. Тот, кто отдает себе отчет в том, что рискует, но при этом идет вперед.

Когда прозвучали эти слова, Дита заметила, что дрожь в ее ногах утихает.

– Храбрые – это те, кто способен свой страх преодолеть. И ты как раз из них. Как тебя зовут?

– Меня зовут Эдита Адлерова, пан Хирш.

– Добро пожаловать в блок 31, Эдита. И да поможет тебе Бог. Зови меня Фреди, пожалуйста.

Она очень хорошо помнит, как в тот вечер, когда играли «Белоснежку», они предусмотрительно дожидались, пока все не разошлись. И только после этого Дита вошла в кабинет Фреди Хирша – узкое прямоугольное помещение с койкой и парой старых стульев. Там было полным-полно открытых пакетов, пустых коробок, документов с официальными печатями, обрезков ткани, из которой изготавливались декорации «Белоснежки», помятых мисок, а также лежала его собственная одежда – запас невелик, но сложен аккуратно.

Когда Хирш обратился с просьбой об улучшении полугодного детского рациона, доктор Менгеле с неожиданным для него снисхождением приказал отправлять в детский 31-й блок посылки, присылаемые родственниками тем узникам, которых уже не было в живых. Перевод заключенных в госпитальный барак был делом чуть ли не каждодневным, а их гибель – рутинной. Из 5007 депортированных, доставленных в лагерь в сентябре, к декабрю умерло около тысячи. Кроме обычных простудных заболеваний, таких как бронхит и воспаление легких, в лагере свирепствовали рожа и желтуха, усугубляемые дистрофией и отсутствием минимальной гигиены. Осиротевшие посылки, пройдя через заграбущие лапы эсэсовцев, добивались до блока 31 до такой степени разграбленными, что порой их содержимым оказывались лишь крошки да пустая оберточная бумага. Но все же иногда удавалось обнаружить в них галеты, колбасу, кусочки сахара... И это было очень ценное дополнение к скудному рациону детей. Кроме того, на основе найденного в посылках получалось организовывать различные детские конкурсы и ярмарочные розыгрыши, призом в которых служили то половина луковицы, то кусочек шоколада, то щепотка манки.

Вначале Хирш сообщил Дите ошеломившую ее новость: блок 31 располагал «ходячей» библиотекой. Оказалось, что некоторые преподаватели, досконально знавшие какой-нибудь

художественный текст, становились живыми книгами. Они переходили из группы в группу и рассказывали детям истории, хранившиеся в их памяти.

– Магда – непревзойденный рассказчик «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями»: детям очень нравится представлять, как они летят по небу над Швецией, уцепившись за гусиные лапы. Шасехк прекрасно рассказывает истории об индейцах и о приключениях на Диком Западе. Коронный номер Дезо Ковака – подробнейшие пересказы преданий и легенд о библейских патриархах. У него так хорошо получается, что мы зовем его «говорящей Библией».

Но только этим Фреди Хирш не удовольствовался. Он рассказал Дите и о том, что разными подпольными путями в лагерь проникали в том числе и настоящие книги. Поляк Мие-тек, плотник по специальности, принес им три книги, а электрик из Словакии – еще две. Оба были представителями той группы заключенных, которые обладали чуть большей свободой, поскольку могли перемещаться между несколькими концлагерями, обеспечивая, в качестве специалистов, их функционирование. Из огромного склада под названием «Канада», куда отправлялись все реквизированные у вновь поступающих в Аушвиц заключенных вещи, им удалось вынести на себе несколько книг, за которые Хирш расплатился провизией из передаваемых в блок посылок.

Дите поручалось смотреть за тем, кому из учителей была выдана та или иная книга, а также собирать их после окончания занятий и в конце дня вновь убирать в тайник. Комнатка старшего по блоку изобиловала разными вещами, но там поддерживался порядок. Можно даже сказать, что если там и присутствовали черты хаоса, то они были тщательно продуманы самим Хиршем и призваны кое-что прятать от нескромных взоров. Старший по блоку направился в угол, где были свалены обрезки ткани, и очистил от них пол. Потом снял половую доску, и сразу показались корешки книг. Дита не могла сдержать восторга и захлопала в ладоши, как будто искусный иллюзионист только что показал ей фокус.

– Вот она, твоя библиотека. Не бог весть что, конечно, – и он искоса взглянул на девочку, чтобы понять, какое впечатление произвел на нее тайник.

Обширной эту библиотеку не назовешь. Честно говоря, в ней было всего восемь томов, причем некоторые – в довольно потрепанном виде. И все же это были книги. В этом сумрачном месте, где человечество достигло состояния собственной тени, присутствие книг являлось свидетельством существования менее мрачных и более благостных времен, когда слова звучали намного весомее, чем пулеметы. След ушедшей эпохи. Дита одну за другой брала в руки книги – бережно, словно мать, берущая на руки новорожденного.

Первый томик оказался растрепанным «Атласом Европы», в котором не хватало страниц и фигурировали уже давно не существующие страны и империи. Цветовая гамма политических карт атласа – целая мозаика ярких красок: пламенеющий алый, блистающая зелень, ярко-оранжевый – выступала кричащим контрастом по сравнению с окружающей Диту тоской: темно-коричневые пятна слякоти, вылинявшая охра стен бараков, пепельная серость низкого неба. Она начала перелистывать страницы атласа и словно взлетела над землей: вот она пересекает океаны, огибает мысы со сказочными именами – мыс Доброй Надежды, мыс Горн, мыс Тарифа; перелетает через горы; перепрыгивает через проливы, которые так узки, что два берега или два океана того и гляди коснутся друг друга, – Берингов пролив, Гибралтар, Панамский перешийек; ее палец скользит вниз по течению рек – Дуная, Волги, потом Нила. Поместить все эти миллионы квадратных километров морей, лесов, запихнуть все горные цепи планеты Земля, все ее реки, города и страны в такое крохотное пространство – да, на такие чудеса способна только книга!

Фреди Хирш молча смотрел на Диту, явно наслаждаясь выражением ее лица: сосредоточенным взглядом и приоткрывшимся ротиком, с которым она перелистывает страницы. Если у него и оставались какие бы то ни было сомнения по поводу решения возложить ответствен-

ность за библиотеку на плечи этой чешской девочки, то в тот момент они окончательно развеялись. Он увидел, что Эдита вложит в хранение книг и заботу о них себя целиком – без остатка. В ней явно была та самая связь, которая соединяет порой человека и книгу. Вид сообщества, который ему самому, слишком активному, чтобы затеряться среди стройных линий печатного текста на книжных страницах, был несвойственен. Фреді предпочитал активность, физические упражнения, песни, речи... Но он тотчас понял, что как раз в Дите живет эта тайная страсть – та, что кое для кого превращает стопку бумаги с напечатанными на ней буквами в огромный, созданный только для них мир.

В несколько лучшей сохранности были «Начала геометрии», являвшие на своих страницах собственную географию: пейзаж из равнобедренных треугольников, восьмигранников и цилиндров, стройных рядов цифр, упорядоченных в военном строе арифметики, сгруппированных так, что загадочная ячеистая структура делала их похожими сразу и на облака, и на параллелограммы.

Третья книга распахнула глаза Диты во всю ширь. Это были «Очерки истории цивилизации» Г. Дж. Уэллса. Книга, на страницах которой жили доисторические люди, египтяне, римляне, индейцы майя... Цивилизации, складывающиеся в империи, которые в свою очередь разрушались, освобождая место для идущих им на смену.

На обложке следующей книги значилось: «Грамматика русского языка». Дита не понимала здесь ничего, но ее завораживали загадочные буквы, словно специально созданные для того, чтобы ими записывались легенды. Теперь, когда Германия вступила в войну с Россией, все русские стали ее друзьями. Дите приходилось слышать, что в Аушвице много русских военнопленных и что нацисты обращаются с ними с особой жестокостью. И это было правдой.

Еще одна книга оказалась французским романом в довольно плачевном состоянии: с недостающими страницами, с пятнами сырости в некоторых местах. Дита французского не знала, но сразу же подумала, что обязательно найдет способ расшифровать этот текст и узнать рассказанную в нем историю. В библиотеке имелся также научный трактат под названием «Новые пути в психоанализе», принадлежащий перу некоего профессора по фамилии Фрейд. Был еще один роман – на русском; томик был без обложки. А восьмой книгой оказался роман на чешском. Он был в совершенно ужасном состоянии: ни дать ни взять стопка рассыпающейся бумаги, еле скрепленная несколькими стежками на корешке. Но Дита взять эту книгу в руки не успела – Фреді Хирш ее опередил. Она взглянула на него с досадой истинной хранительницы книг. Ей бы очень хотелось, чтобы в тот момент у нее на носу сидели очки в роговой оправе, и она бы поверх них взглянула на него, как делают обычно строгие библиотекари.

– Эта совсем рассыпалась. Она уже никуда не годится.

– Я приведу ее в порядок.

– Помимо всего прочего... это не та книга, которая рекомендована для детского чтения. Особенно для девочек.

Дита еще больше распахнула свои огромные глазищи, выражая степень охватившего ее раздражения.

– При всем уважении к вам, пан Хирш, но мне уже четырнадцать. Неужели вы действительно полагаете, что меня, каждый день наблюдающую за тем, как кастрюля с нашим завтраком встречается по дороге к барaku с повозкой, груженной трупами, что меня, после ежедневного же созерцания нескольких десятков людей, входящих в газовые камеры в дальнем конце лагеря, что после всего этого меня может чрезмерно впечатлить хоть что-нибудь, изображенное в романе?

Хирш с удивлением смотрит на девчонку. А его удивить нелегко. Он принимается объяснять, что речь идет о «Похождениях храброго солдата Швейка», о книге, написанной невоздержанным на язык алкоголиком по имени Ярослав Гашек, что роман содержит скандальные оценки и суждения о политике и религии, а также крайне сомнительные с точки зрения морали

эпизоды, плохо подходящие для ее возраста. Говоря все это, Хирш в какой-то момент осознаёт, что пытается убедить лишь самого себя, да и то без особого успеха, и что эта девчушка с пронизательным взглядом сине-зеленых глаз взирает на него весьма решительно. Хирш начинает массировать рукой подбородок, словно желая стереть с него проступившую за день щетину. Тяжело вздыхает. Еще раз откидывает волосы назад и в конце концов сдается. Протягивает Дите и эту разваливающуюся книжку.

Дита разглядывает книги, ласкает их. Они потрепанные и неровные, захватаны множеством рук, с розоватыми следами от сырости, у некоторых не хватает обложки или страниц... Но это сокровище. Их хрупкость придает им еще большую ценность. Она понимает, что с ними следует обращаться как со старичками, выжившими в страшной катастрофе. Причина – их непреходящая ценность: без них может быть утрачена мудрость, накопленная за несколько долгих веков цивилизации. Знания и умения географов, которые демонстрируют нам, каков он, этот мир; искусство литературы, которая позволяет читателю в десятки раз увеличить количество проживаемых жизней; прогресс науки, отраженный в математике; история, напоминающая нам, откуда мы родом, какой путь мы уже прошли, и, возможно, помогающая выбрать ту дорогу, по которой нам следует пойти; грамматика, прослеживающая нити речевого общения людей... С этого дня Дита стала не только библиотекарем – она превратилась в хранительницу и врачевательницу книг.

3

Дита старается глотать ежедневную похлебку из брюквы как можно медленнее – говорят, что так она лучше насыщает, хотя, даже если цедить ее сквозь зубы, голода этим никак не утолишь и даже не обманешь. Собравшиеся кружками учителя между отправляемыми в рот ложками похлебки обсуждают далеко не блестящее поведение легкомысленного профессора Моргенштерна.

– Он очень странный: то говорит так много, что не остановишь, то вдруг замолчит, и слова из него не вытянешь.

– Лучше бы молчал. Говорит какую-то абракадабру. Совсем из ума выжил.

– И как же противно было смотреть на него, когда он так покорно склонял голову перед Пастором.

– Да уж, про него никак не скажешь, что он герой Сопротивления.

– Ума не приложу, почему Хирш позволяет вести занятия с детьми человеку, у которого явно не все дома.

До Диты, пристроившейся в некотором отдалении, доносится весь обмен репликами. И она жалеет этого уже довольно пожилого человека, немного похожего на ее деда. Она видит его – вон он сидит на табурете в другом конце барака, ест свою похлебку в полном одиночестве и даже сам с собой разговаривает, церемонно поднося ложку к губам и отводя в сторону мизинец с такой утонченностью, которая в их конюшне явно неуместна. Как будто профессор обедает во дворце в обществе аристократов.

Вторая половина дня, как обычно, посвящена детским играм и спортивным занятиям, но Дита горячо желает только одного: чтобы день побыстрее закончился и была проведена вечерняя поверка, после которой ей можно будет побежать в другой барак, повидаться с родителями. В семейном лагере новости порхают из барака в барак и после многократных пересказов искажаются до неузнаваемости.

Как только предоставляется такая возможность, Дита торопится покинуть блок 31 и побежать к матери, чтобы ее успокоить. Она уже наверняка слышала об инспекции в блоке 31, и одному богу известно, что ей там об этом наговорили. Идя по *лагеритрассе*, Дита встречает свою подругу Маргит.

– Дитинка, говорят, у вас в 31 блоке сегодня была инспекция!

– Да, этот мерзавец Пастор.

– Ой, а тебе обязательно нужно употреблять ругательства? – спрашивает Маргит подругу, прыская от смеха.

– «Мерзавец» – это не ругательство, это правда. Он вызывает... отвращение! Разве что-то может быть правдой и в то же время ругательством?

– Ну и как, что-нибудь нашли? Кого-нибудь задержали?

– Абсолютно ничего, там ведь нет ничего такого, что можно найти. – И Дита слегка подмигивает подруге. – С ними еще Менгеле приходил.

– Доктор Менгеле? Боже мой! Значит, вам крупно повезло. Об этом человеке рассказывают страшные вещи. Он безумец. Попытался воздействовать на цвет глаз и, чтобы получить голубые, вколол в зрачки тридцати шести детям синие чернила. Какой ужас, Дитинка. Одни умерли от занесенной инфекции, другие ослепли...

Обе девочки умолкают. Маргит – лучшая подруга Диты, она знает о том, что Дита – библиотекарь подпольной библиотеки, но Дита попросила Маргит ничего не говорить об этом ее маме. Мама, конечно же, запретила бы ей соглашаться на эту роль, сказала бы, что это чересчур опасно, возможно, заплакала бы и пригрозила обо всем рассказать отцу. Мама не очень религиозна, но наверняка принялась бы взывать к Богу, что-то в этом духе. Нет, лучше ни о чем

ей не говорить. И отцу тоже, он и так уже довольно сильно подавлен. Чтобы сменить тему, Дита, улыбаясь и похихикивая, рассказывает Маргит о происшествии с профессором Моргенштерном.

– Ну и цирк он там устроил! Видела бы ты выражение лица Пастора, когда у профессора вываливались из карманов вещи – каждый раз, когда он наклонялся.

– Да-да, я его знаю – такой очень старый господин, носит костюм в полоску и склоняет голову каждый раз, когда навстречу попадает женщина... А женщин так много, что он похож на механического болванчика с пружинкой вместо шеи! Мне кажется, что у этого господина крыша слегка поехала.

– А у кого здесь она не поехала?

Добравшись до цели, Дита видит на улице своих родителей: они отдыхают под навесом, устроенным вдоль длинной стены барака. На улице холодно, но внутри слишком много народу. Судя по всему – устали, особенно отец.

Рабочий день длинный: их поднимают до рассвета, потом – нескончаемая поверка под открытым небом, после нее все работают в мастерских до вечера. Отец изготавливает специальные ленты для портупей, которые удерживают винтовку, поэтому руки его часто совсем черные, а пальцы покрыты волдырями из-за токсичных резины и клея. Мать трудится в мастерской по изготовлению фуражек, где работа не такая тяжелая. Конечно, очень много часов, да еще и при скудном питании, но все же они работают под крышей и сидя. Другим досталось кое-что похуже: собирать трупы и грузить их на специальную телегу, чистить отхожие места, копать дренажные канавы или работать на погрузке и разгрузке разных материалов.

Отец подмигивает дочке, а мама вскакивает со своего места, едва заведя ее.

– С тобой все в порядке, Эдита?

– Да-а-а-а!

– Ты меня не обманываешь?

– Конечно нет! Разве ты сама не видишь?

Тут появляется пан Томашек.

– Ханс, Лизль! Как у вас дела? Как я погляжу, ваша дочка по-прежнему является обладательницей самой красивой улыбки во всей Европе!

Дита, зардевшись, объявляет, что она пойдет с Маргит, и девочки оставляют взрослых беседовать.

– Какой же он любезный, этот пан Томашек!

– Ты и его знаешь, Маргит?

– Да, он часто навещает моих родителей. Многие здесь думают только о себе, но пан Томашек из тех, кто заботится о других. Спрашивает, как у них дела, интересуется их жизнью.

– И внимательно слушает...

– Хороший человек.

– Тем лучше – приятно знать, что не все еще сгнили в этом аду.

Маргит умолкает. Хотя она на два года старше Диты, ее немного напрягает та прямолинейность, с которой Дита выражает свои мысли, но она понимает, что подруга права. Ее соседки по нарам воруют чужие ложки, одежду и вообще все, что под руку попадется. Люди воруют хлеб у детей, чуть только мать отвлечется, за лишнюю ложку супа доносят *капо* друг на друга по поводу всяких мелочей. Аушвиц не только убивает невинных, он также убивает невинность.

– Слушай, Дита, на улице такой холод, а твои сидят здесь, на улице. Не кончится ли это воспалением легких?

– Просто моя мама предпочитает как можно меньше общаться со своей соседкой по матрасу. У той очень тяжелый характер... Хотя и у моей, надо признать, не лучше!

– В любом случае, вам повезло – спите на верхних нарах. А вот нас всех распределили на нижние.

– Да, должно быть, сырость от земли поднимается.

– Ах, Дитинка, Дитинка! Самое ужасное – не то, что поднимается снизу, а то, что может упасть сверху. Твою соседку сверху, например, затошнит, и вдруг ее вырвет прямо на тебя, потому что у нее не будет времени посмотреть, куда попадет блевота. А еще многие страдают дизентерией и ходят прямо под себя. Поверь, Дитинка, просто струями – вниз. Видела я такое, хоть и на других нарах.

Дита на мгновение останавливается и, невероятно серьезная, поворачивается лицом к Маргит.

– Маргит...

– Что?

– На свой день рождения ты можешь попросить, чтобы тебе подарили зонтик.

И подружке Диты, которая старше ее на целых два года, выше ростом, но при этом отличается детским личиком, только и остается, что отрицательно покачать головой. Права ее мать, когда говорит, что Дита – ужасный человек: она способна посмеяться над чем угодно!

– А как это вам удалось заполучить верхние нары? – спрашивает Маргит в ответ.

– Ну, ты же знаешь, какая в лагере поднялась заварушка, когда в декабре прибыл наш транспорт.

Обе девочки замолчали. Старожилы, прибывшие в лагерь в сентябре, были не только чехами, как и они, но и знакомыми, друзьями, порой даже родственниками всех тех, кого депортировали из гетто в Терезине позже, как их. Тем не менее, увидев вновь прибывших, никто не обрадовался. Заселение в лагерь еще пяти тысяч новых заключенных означало, что придется делиться тонкой струйкой воды из крана, что проверки под открытым небом станут нескончаемыми, что бараки будут переполнены.

– Когда мы с мамой пришли в барак, в который нас распределили, наша попытка поселиться на нарах со старожилами вылилась в полный дурдом.

У Маргит такое же впечатление. Она также хорошо помнит в своем бараке споры, крики и даже драки между женщинами, оспаривающими друг у друга тощее одеяло или замызганную подушку.

– В нашем бараке, – вспоминает Маргит, – была одна очень больная женщина, которая все время кашляла, и когда она пыталась сесть на своем матрасе, соседка по нарам выпихивала ее на пол. Тогда эта женщина заходила в кашле еще сильнее и, обессиленная, стонала, потому что не могла подняться с пола. «Идиотки! – кричала на них *капо*. – Вы что, думаете, что сами здоровы? Думаете, что есть разница: заразная соседка на одних с тобой нарах или на соседних?»

– В таком случае эта *капо* – вполне разумный человек.

– Куда там! Проорав это, она схватила палку и принялась дубасить всех направо и налево без разбора. Досталось и той женщине, что упала на пол, то есть той самой, в защиту которой *капо* вроде бы и выступила.

Дита вспоминает пережитый шквал криков, беготни, слез и продолжает:

– Моя мама предпочла, чтобы мы вышли из барака, пока все это не уляжется. На улице было холодно. Какая-то женщина сказала, что спальных мест не хватит, даже если каждой придется спать вместе с кем-то, и что кому-то точно достанется место на земляном полу.

– И что вы решили делать?

– Да ничего – так и мерзли снаружи. Ты же мою маму знаешь: ей не нравится привлекать к себе внимание. Если в один прекрасный день ее переедет трамвай, она и то не пикнет, чтобы не давать повода для разговоров. Ну а я так просто вся извелась от нервов. Поэтому я не стала

ее спрашивать. Все равно она мне бы не позволила. Так что я сорвалась с места и вбежала в барак быстрее, чем она успела хоть что-нибудь сказать. И кое-что я там заметила...

– Что?

– Что почти все верхние нары были заняты. И сделала вывод, что, скорее всего, они лучшие. В чем тут дело, я тогда не понимала, зато знала, что в таких местах нужно внимательно приглядываться к тому, как ведут себя старожилы.

– Знаю я одну старожилку: примет тебя в соседки на своих нарах, если ты ей можешь чем-то за это заплатить. Одной женщине удалось добиться, чтобы ее взяли на нары в обмен на яблоко.

– Яблоко – это целое состояние, – отзывается Дита. – Она, наверное, цен не знала. Даже за пол-яблока можно купить многие вещи. И много разных поблажек.

– Тебе тоже пришлось что-то заплатить?

– Ничего. Я оглядела старожилков и выделила тех, у кого не было соседок на нарах. На тех, где уже появились две подселенки, женщины сидели, свесив ноги, – это они свою территорию поместили. Женщины из нашего транспорта бегали по всему барaku в поисках места – наверху, внизу, где угодно, взывали к милосердию. Искали узниц помягче, чтобы те позволили им прилечь на их матрасе. Но все милосердные давно уже кого-то к себе пустили.

– С нами тоже так было, – говорит Маргит. – Нам еще повезло, что в конце концов мы увидели нашу соседку по комнате в Терезине, и она нас приютила – маму, сестру и меня.

– У меня знакомых там не было – никого. И к тому же мне нужно было два места, а не одно.

– И что, тебе удалось-таки найти сострадательную старожилку?

– Было уже слишком поздно. Остались только эгоистки и злюки. Знаешь, что я сделала?

– Нет, не знаю.

– Нашла самую мерзкую.

– Почему?

– Потому что отчаялась. Увидела эту старожилку – среднего возраста, с короткими, словно обкусанными волосами; она сидела на своем матрасе на верхних нарах. Выглядит отвратительно, нахальная. Через все лицо – черный шрам. Синяя наколка на руке – верный знак, что в тюрьме сидела. К ней подошла одна женщина и стала молить о месте – так та как заорет на нее! Криком прогнала. Даже попыталась пнуть ее своей грязнущей пяткой. Ну и ножищи у нее – огромные, кривые!

– И что ты тогда сделала?

– Встала перед ней, наглая такая, и как закричу: «Слушай, ты!»

– Ну и ну! Поверить не могу! Ты меня, наверное, просто за нос водишь! Что, ты смотришь на старожилку, по виду преступницу, совсем тебе не знакомую, и вот так спокойненько говоришь ей: «Слушай, ты!»?

– А кто тебе сказал, что спокойненько? Да я умирала со страху! Но к такой тетке, как она, ты не можешь подойти и сказать: «Добрый вечер, многоуважаемая пани, как вы полагаете, в этом году абрикосы успеют созреть?» Да она бы тебя вытолкала восвояси тычками и пинками! Чтoб она меня послушала, мне нужно было говорить с ней на ее языке.

– И она тебя выслушала?

– Ну, сначала она на меня посмотрела так, будто прирезать хочет. Я, наверное, побледнела как мел, но постаралась, чтобы она ни о чем не догадалась. И сказала ей, что дело кончится тем, что *капо* указательным пальцем распределит по нарам тех женщин, кому не удалось найти себе место: «За стенами барака еще два или три десятка узниц, и тебе может достаться любая из них. Среди них одна такая толстая, что раздавит тебя во сне, как котенка. Еще у одной изо рта воняет хуже, чем от ног. И несколько старух с несварением – будут портить воздух».

– Дита, ну ты даешь! И что она на это сказала?

– Смотрела на меня с кислой миной, и все. Хотя не кислую она изобразить явно не могла, даже если бы захотела. Во всяком случае, позволила мне продолжить: «Во мне меньше сорока пяти кило. Во всем этапе ты не найдешь никого, кто был бы тоньше меня. Я не храплю, умываюсь каждый день и знаю, когда лучше помолчать. Да ты во всем Биркенау не найдешь более выгодную соседку, чем я, даже если с лупой будешь ползать».

– И что она тогда сделала?

– Вытянула в мою сторону шею и стала сверлить меня глазами, как, знаешь, когда смотришь на муху и думаешь: прихлопнуть ее или пусть летит? Если бы у меня не так сильно дрожали ноги, я бы спаслась бегством.

– Ну ладно, а что она сделала-то?

– Заявила мне: «Заметано, остаешься со мной».

– Так значит, ты добила своего!

– Нет, пока еще нет. Я ей дальше говорю: «Сама видишь: я очень выгодная соседка по нарам, но пойду я к тебе, только если ты поможешь мне получить еще одно место на верхних нарах для моей матери». Представить себе не можешь, как она взбеленилась! Ей, естественно, не понравилось, что какая-то дохлая соплячка рассказывает, что ей нужно делать. Но я-то заметила, с каким отвращением смотрит она на женщин, бродящих по бараку. Знаешь, что она меня спросила, причем на полном серьезе?

– Что?

– «А ты в постель не писаешься?» «Нет, пани, никогда», – был мой ответ. «Попробуй только», – говорит она своим хриплым от водки голосом. И поворачивается к соседним нарам, на которых тоже пока что была только одна женщина. «Слушай, Боскович, – заявляет она ей, – ты что, не знаешь, что было распоряжение об уплотнении?» А та прикидывается шлангом. «Это еще вилами по воде писано – твои аргументы меня не убеждают».

– И что сделала эта твоя старожилка?

– Ну, дополнительные аргументы у нее нашлись. Она порылась в соломенной начинке матраса и вытащила оттуда кусок загнутой проволоки с ладонь величиной, с заточенным концом. Оперлась рукой о койку соседки и приставила острие к ее шее. И этот аргумент, я полагаю, оказался вполне убедительным. Соседка изо всех сил согласно закивала. От страха глаза у нее так выкатились, что чуть не упали вниз с физиономии! – и Дита засмеялась.

– Меня это совсем не веселит. Такая ужасная женщина! Господь ее покарает.

– Ну, я как-то слышала от обойщика-христианина, чья лавка расположена на первом этаже нашего дома, что Господь пишет прямо, но кривыми строчками. Может, скривленные проволоки тоже годятся. Я ее поблагодарила и представилась: «Меня зовут Эдита Адлерова. Возможно, мы еще станем хорошими подругами».

– И что она тебе ответила?

– А ничего. Должно быть, она решила, что и так потратила на меня слишком много времени. Она просто отвернулась к стенке, оставив мне полоску матраса шириной в четыре пальца, чтобы я легла вальетом – головой к ее ногам.

– И больше ничего тебе не сказала?

– С тех самых пор она больше ни слова мне не сказала, Маргит. Веришь?

– Ах, Дитинка. Я теперь уже во что угодно могу верить. Да поможет нам Бог.

Настало время ужина; девочки прощаются и расходятся по своим баракам. Уже полностью стемнело, и лагерь освещают только тусклые желтые фонари. Взгляд Диты останавливается на двух *капо*, беседующих возле двери барака. Отличать их она умеет – по лучшей, чем у остальных узников, одежде, по коричневому браслету спецзаключенного, по вышитому треугольнику, который показывает, что эти двое не евреи. Красный треугольник носят политзаключенные, большинство из которых либо коммунисты, либо социал-демократы. Коричневый – для цыган. Зеленый – для обыкновенных преступников и рецидивистов. Черный – знак

разного рода асоциальных элементов, которыми считаются умственно отсталые и лесбиянки. Гомосексуалы носят розовый треугольник. В Аушвице большой редкостью являются *капо* с розовыми или черными треугольниками, потому что их носители – низшая категория заключенных, почти что на уровне евреев. Но в секторе ВПb исключения являются правилом. Один из двоих беседующих *капо* – мужчины и женщины – носит на рукаве розовый, а другой – черный треугольник; по-видимому, здесь с ними больше никто разговаривать не желает.

Дита дотрагивается до желтой звезды и шагает к своему барaku, думая о куске хлеба, который ей дадут на ужин. Для нее этот хлеб – лакомство, единственная порция твердой пищи, ведь обеденная похлебка – вода водой, способная лишь на небольшой промежуток времени утолить жажду.

Темная тень, гуще и чернее, чем все остальные, тоже движется по *лагеритрассе*, но в противоположном направлении. Люди перед этой тенью расступаются, шарахаясь в сторону: хоть бы прошла мимо, не останавливаясь, не коснувшись их. Любой скажет, что это смерть. Так оно и есть. Сквозь темноту просачивается мелодия «Полета валькирий» Вагнера.

Доктор Менгеле.

Когда он поравнялся с Дитой, девочка опустила взгляд и собралась отпрянуть в сторону, как остальные. Но офицер останавливается и фокусирует взгляд именно на ней.

– Тебя-то я и ищу.

– Меня?

Менгеле медленно окидывает ее взглядом.

– Лиц я не забываю никогда.

Речь его отличается каким-то кладбищенским спокойствием. Если бы смерть могла говорить, то делала бы это именно в таком ледяном тоне и ритме. Дита вспоминает случившееся сегодня днем в блоке 31. Пастор не смог сосредоточиться на ней из-за той суматохи, которая последовала за выступлением полоумного профессора, и она решила, что все обошлось. Но не подумала о докторе Менгеле. Он стоял дальше, но, понятное дело, все видел. И не мог его цепкий взгляд исследователя не отметить, что она и стоит не на своем месте, и что одна ее рука поднята, и что она явно что-то прячет. Дита видит это в холоде его глаз, странным для арийца образом карих.

– Номер.

– 73305.

– Я буду следить за тобой. Когда ты меня не видишь – я за тобой наблюдаю. Ты думаешь, что я тебя не слышу, – но я тебя слушаю. Я знаю все и обо всем. И если ты хоть на миллиметр отступишь от правил пребывания в лагере, я об этом узнаю, и ты окажешься на моем столе. Вскрытие живого тела обычно выявляет очень много интересного.

И произнеся это, продолжает, как будто бы только для самого себя:

– Видишь, как доходят до желудка последние порции крови, выталкиваемые сердцем. Чрезвычайной красоты зрелище.

Менгеле полностью уходит в себя, размышляя о прекрасной патологоанатомической лаборатории с новейшим медицинским оборудованием, которую он создал при крематории номер 2. Для него в высшей степени притягательны и ее пол из красноватого цемента, и секционный стол со столешницей из полированного мрамора, с установленным по центру резервуаром для жидкостей, с его никелевым трубопроводом и кранами. Это его алтарь – алтарь, посвященный науке. Он им гордится. И вдруг вспоминает, что у него запланировано завершение эксперимента на черепах, проводимого на цыганских детях. И удаляется широкими шагами: заставлять детей ждать было бы с его стороны невежливо.

Оцепеневшая Дита остается на месте, застыв посреди лагеря. У нее дрожат ноги – тоненькие, не толще палки от швабры. Еще секунду назад на *лагеритрассе* было полно народу – и вот она одна. Все остальные вдруг исчезли, словно заглоченные канализацией. Никто не под-

ходит поинтересоваться, все ли с ней в порядке или же требуется помощь. На ней – метка доктора Менгеле. Некоторым узникам, остановившимся понаблюдать за сценой на исключаящем нескромность расстоянии, Диту жалко – она так испугана, так потеряна. Одна женщина даже знает ее в лицо, помня еще по гетто Терезина. Но все мгновенно принимают решение поспешить и как можно быстрее убраться с места происшествия. Прежде всего – выживание. Это заповедь Господня.

Наконец Дита вновь обретает способность двигаться и направляется к своему переулку. «Неужели и правда он будет следить за мной?» – возникает в голове вопрос. Ответом ей служит его ледяной взгляд. Пока она идет в барак, вопросы в голове все множатся и множатся. Что же ей теперь, начиная вот с этого момента, делать? Самым благоразумным будет отказаться от роли библиотекаря. Как она сможет продолжать управляться с библиотекой, если на пятки ей будет наступать доктор Менгеле? Есть в нем что-то такое, что внушает ужас, что-то ненормальное. За эти годы она перевидала многих нацистов, но в этом есть что-то совершенно особенное. Интуиция ей подсказывает, что этот человек обладает какой-то исключительной властью творить зло.

Торопливой, чтобы не выдать своей тревоги, скороговоркой девочка желает маме спокойной ночи и осторожно укладывается возле вонючих ног старожилки. Шепчет еще одно пожелание спокойной ночи, и оно теряется в потолочных трещинах.

Спать она не может, но не может и пошевелиться. Дита вынуждена обеспечивать телу полную неподвижность, несмотря на то что голова ее идет кругом. Менгеле предупредил ее. И очень может быть, что тем самым оказал ей любезность, поскольку других предупреждений уже не будет. В следующий раз он введет иглу для инъекций прямо в ее сердце. Она не может оставаться хранительницей книг в блоке 31. Но как же ей отказаться от библиотеки?

Если она это сделает, все решат, что она испугалась. Она, конечно, все объяснит, приведет аргументы, все очень здравые и взвешенные. Любой мало-мальски разумный человек, окажись он на ее месте, сделал бы то же самое. Но она хорошо знает, что новости в Аушвице распространяются от койки к койке быстрее блох. И если на первой койке будет сказано, что кто-то из мужчин выпил стакан вина, то, дойдя до последней, окажется, что он выпил целую бочку. И происходит так вовсе не со зла. Все, кто передает друг другу новости, – женщины, достойные всяческого уважения. Взять хотя пани Турновскую – славную женщину, которая так хорошо ладит с ее мамой, но и с ней то же самое: не язык, а просто динамит какой-то.

И Дите уже слышатся ее слова: «Ясное дело, девочку обуял страх...» И это будет сказано тем снисходительным, наигранно понимающим тоном, который так ее бесит. А хуже всего, что всегда найдется добрая душа, которая в ответ скажет: «Бедняжка, ее можно понять. Она испугалась. Она же еще ребенок».

Ребенок? Ничего подобного, дорогая пани! Чтобы быть ребенком, необходимо, чтобы у тебя было детство.

4

Детство...

В одну из бессонных ночей она придумала игру: превращать свои воспоминания в фотокарточки и размещать их в собственной голове – том единственном фотоальбоме, который никому не под силу у нее отнять. Вскоре после появления в Праге нацистов они вынуждены были переехать из квартиры в полностью электрифицированном доме. Ей очень нравилась их квартира, потому что этот дом был самым современным в городе – с прачечной на цокольном этаже и домофоном, который служил предметом зависти всех одноклассниц Диты. Она помнит, как однажды, вернувшись из школы, застала отца посреди гостиной. Облаченный в двубортный костюм, он, как и всегда, выглядел элегантно, но был необычайно серьезен. И объявил дочке, что из нынешней чудной квартиры они переезжают в другую: теперь они будут жить недалеко от замка, в районе Градчаны.

Та квартира – более светлая, сказал папа, не глядя ей в глаза. И даже не шутил, как имел обыкновение делать, когда нужно было замаскировать по-настоящему важные вещи. Мама молча листала иллюстрированный журнал.

– А я не собираюсь никуда отсюда уезжать! – заревела Дита.

Отец обреченно опустил голову, и вот тогда не кто иной, как мама, поднялась с кресла, подошла к дочке и отвесила ей такую звонкую пощечину, что мамины пальцы отпечатались у нее на щеке.

– Но, мама, – только и смогла выдавить Дита, скорее ошеломленная, чем оглушенная болью, потому что привыкла к тому, что мать даже голоса на нее не повышала, – ты же сама говорила, что эта квартира в доме с электричеством – воплощенная мечта всей твоей жизни...

И тогда Лизль обняла дочку.

– Эта война, Эдита. Это война.

Спустя год отец снова стоял посреди гостиной. Тот же самый серый двубортный костюм. К тому времени у него было уже гораздо меньше работы в социальном страховании, где он служил юристом, и довольно часто после обеда он оставался дома, уйдя с головой в изучение географических карт и медленно вращаемого настольного глобуса. Отец сказал, что они снова переезжают, на этот раз – в район Йозефов. В соответствии с распоряжением нацистского *рейсхротектора*, который командовал всей страной, евреи должны были сконцентрироваться в этом районе Праги. Дита с родителями и бабушка с дедушкой вынуждены были разместиться в крошечной обшарпанной квартирке на улице Элишки Красногорской, в непосредственной близости от той экстравагантной синагоги, которая была Дите хорошо известна, потому что отец, проходя мимо нее, не уставал рассказывать дочке о ее выдающейся испанской архитектуре. На этот раз вопросов Дита уже не задавала и сопротивляться не пыталась.

Это война, Эдита, это война.

И на этой вот горке, по которой неудержимо скользила вниз привычная жизнь, появилось однажды извещение Еврейского совета Праги, в котором всем им предписывался новый переезд, но на этот раз – за пределы города. Они должны были выехать в Терезин – маленький городок со старинными крепостными сооружениями, который оказался превращен в еврейское гетто. Гетто, которое по приезде туда показалось Дите ужасающим местом и по которому она теперь тоскует, потому что позже в своем падении в пропасть они спустились еще на один уровень ниже – когда упали в смешанную с пеплом грязь Аушвица. Больше ступеней вниз не осталось.

Или остались?..

После той зимы 39-го года, когда все началось с молчаливого парада нацистов, подобного вирусу гриппа, поразившему реальность, мир вокруг нее и не раскололся мгновенно, и

не пошел ко дну. Однако все вокруг стало разрушаться, сначала – очень медленно, а потом все быстрее и быстрее. Продуктовые карточки, запрет заходить в кафе, запрет отправляться за покупками в те часы, когда это делали остальные горожане, запрет иметь дома радиоприемник, запрет посещать театры и кинотеатры, запрет покупать яблоки... Потом настал черед изгнания еврейских детей из школ. Им даже было запрещено играть в парках. Словно задались целью лишить их детства.

Губы Диты тронула легкая улыбка... У них не получилось.

В фотоальбоме ее памяти оживает фотография. Двое детей, взявшись за руки, идут по старому еврейскому кладбищу Праги между надгробий, увенчанных маленькими камешками, под которыми лежат записочки – чтобы ветром не унесло. Нацисты не ввели ограничения на посещение кладбища, за которым евреи заботливо ухаживают, начиная с XV века. В своих методичных и вместе с тем безумных планах Гитлер предусмотрел сохранение синагоги с кладбищем и превращение их в музей, призванный рассказывать о некогда существовавшем еврейском народе. Антропологический музей, где евреи будут чем-то вроде вымерших динозавров, в который группы школьников – арийских детей, естественно, – будут приходить на экскурсии, удовлетворяющие их угасающее любопытство.

Еврейская ребятня города, которой было запрещено появляться в парках и школах, превратила старое кладбище в игровую площадку. Дети бегали и скакали между столетними могилами, поросшими мхом и привыкшими к вековому покою.

Под каштаном, позади которого склонялись друг к другу две массивные стелы, Дита указала своему однокласснику на имя, выбитое на огромной могильной плите: Йехуда Лев бен Бецалель. Эрик не знал, кто он такой, но ей было несложно восстановить этот пробел, ведь отец Диты пересказывал ей историю этого человека каждый раз, когда, надев кипу, отправлялся гулять с дочкой по кладбищу. Бен Бецалель был раввином еврейского гетто в Йозефове, еврейском квартале, где обязаны были жить все евреи Праги, как и сейчас. Изучая каббалу, он установил, как вдохнуть жизнь в глиняного человека.

– Это же невозможно! – Эрик прервал ее рассказ, не удержавшись от смеха.

И вот тогда – Дита до сих пор улыбается, вспоминая эту минуту, – она использовала трюк, которому научилась от отца: понизила голос до шепота, приблизила к Эрику голову и сказала ему на ухо страшным замогильным тоном:

– Голем.

Эрик побледнел. Кто из пражцев не слышал о гиганте Големе – огромном каменном монстре?

Дита, повторяя отцовский рассказ, поведала Эрику о том, что Леву удалось расшифровать священное слово, которым Яхве даровал жизнь. Он слепил из глины человеческую фигурку и вложил ей в рот записку со священным словом. И вылепленный человек стал расти и расти, пока не превратился в живого глиняного колосса. Но раввин Лев не знал, как его контролировать, и безмозглый каменный гигант принялся крушить в еврейском квартале все что ни попадя и сеять панику. Это был неистребимый титан, и казалось, что уничтожить его невозможно. Был только один способ: дожидаться, когда он заснет, набраться мужества и, воспользовавшись храпом гиганта, вынуть из его рта записку, вернув его тем самым в состояние безжизненного куска глины. Раввин порвал на тысячу кусочков записку с заветным словом и похоронил Голема.

– Где? – тут же спросил чрезвычайно заинтересованный Эрик.

Этого никто не знает – в тайном месте. А еще было сказано, что, когда еврейский народ окажется в беде, появится вдохновленный Богом раввин, который вновь расшифрует заветное слово, и Голем придет нас спасти.

Эрик восхищенно смотрел на Диту – она знает разные таинственные истории, как, например, историю Голема. Он ласково провел рукой по ее щеке и запечатлел на ней невинный поцелуй – под прикрытием высоких кладбищенских стен и таинственных разговоров.

Вспоминая об этом, она лукаво улыбается.

Первый поцелуй, каким бы мимолетным и невинным он ни был, не забывается никогда. Возможно потому, что проводит первую линию любви на странице, до тех пор девственно чистой. Ей приятно вспоминать о радостях того дня, и она сама дивится своей способности породить радость в пустыне войны. Взрослые впустую тратят свою жизнь в погоне за счастьем, которое вечно ускользает; а у детей, напротив, счастье рождается на голой ладошке просто из ничего.

С другой стороны, сейчас она уже ощущает себя женщиной и не позволит обращаться с собой как с маленькой девочкой. Она не отступит. Она пойдет вперед, потому что только это и следует делать. Как раз то, что сказал ей Хирш: ты жуешь свой страх и глотаешь его. А потом идешь дальше. Храбрецы питаются собственным страхом. Нет, она не оставит библиотеку.

Ни шагу назад...

Не доставит она им этого удовольствия: ни кумушкам с ядовитыми языками, ни этому порождению дьявола – доктору Менгеле. Если ему нужна ее душа, чтобы препарировать, так пусть сначала придет за ней.

И вслед за этим проблеском гордости в душе она открывает глаза во тьме барака, и сила ее внутреннего пламени превращается в огонек светильника. Кашель, храп, стоны какой-то женщины, быть может, умирающей. Может, она самой себе не хочет признаться: больше всего ее волнует не то, что скажут другие узники, будь то пани Турновская или кто-то еще. В действительности же ее беспокоит только то, что станет о ней думать Фреди Хирш.

Несколько дней назад она слышала слова Фреди, обращенные к взрослым – команде легкоатлетов, каждый день бегающих вокруг барака. Под снегом и под дождем, при холоде и при морозе. Хирш бежит вместе с ними – первым в группе.

«Самый сильный спортсмен – не тот, кто первым придет к финишу. Первый на финише – самый быстрый. Самый сильный тот, кто встает после падения. Тот, у которого болит спина, но он бежит. Тот, кто не сходит с дистанции, если цель далека. И вот когда такой бегун достигнет финиша, он и станет победителем. Порой ты не можешь стать самым быстрым, даже если очень этого хочешь, потому что твои ноги недостаточно длинны или твои легкие маловаты. Но ты всегда можешь стать самым сильным. Это зависит только от тебя, от твоей силы воли и от твоих усилий. Я не могу просить вас стать самыми быстрыми, но я буду от вас требовать, чтобы вы стали самыми сильными».

Дита более чем уверена: если она скажет ему, что оставляет библиотеку, он найдет для нее слова вежливые, в высшей степени учтивые, даже утешительные... Но не уверена, вынесет ли она сама его разочарованный взгляд. Дита думает о нем как о ком-то неистребимом, как о несравненном Големе из еврейской легенды, который однажды спасет их.

Фреди Хирш...

Она повторяет его имя на разные лады, чтобы в эту непроглядную ночь набраться мужества.

Среди хранимых в ее памяти образов отыскивается один – примерно двухлетней давности картинка, запечатленная среди мягких полей Страшнице, одного из пригородов Праги. Там евреям позволялось немного подышать воздухом, отвлечься от строгих городских ограничений. Там же располагался спортивный клуб «Хагибор».

На этой картинке – летний день, жарко, и многие мальчики сняли футболки. На ней в центре целой толпы мальчиков и юношей Дита видит троих. Один – мальчик-инвалид лет двенадцати-тринадцати, на котором только очки и белые шорты. В центре – фокусник-иллюзионист, который театрально представляется как Борджини и кланяется. Он очень элегантен:

сорочка, сюртук, галстук в полоску. С другой стороны от него – молодой человек в сандалиях и шортах, оставляющих открытыми большую часть его худого, атлетически сложенного тела. В тот день Дита узнала, что имя этого человека – Фреди Хирш и что в Страшнице он руководит всем детско-юношеским спортом. Парень в очках держит конец веревки, в руках фокусника – ее середина, а Хирш сжимает второй конец. Дита очень хорошо помнит позу тренера: одна рука несколько манерно лежит на талии, другой он держит конец веревки. Хирш смотрит на фокусника и лукаво улыбается.

Тот физрук и спортивный тренер по работе с молодежью показался Дите очень красивым, но не это не позволяло ей отвести от него глаз. Причиной послужило не только его прямое, угольное лицо и атлетическое тело, но и элегантность каждого жеста, точность каждого слова, пронизательность взгляда, направленного прямо в глаза собеседника, и даже его привычка по очереди обводить взглядом каждого в толпе, никого не пропуская. В его резких движениях была и мужественность воина, и гармония классического танца. Говорил он с такой убежденностью, столь красноречиво и маняще описывал, какие увлекательные прогулки ждут их на Голанских высотах, внушал такую гордость по поводу принадлежности к еврейскому народу, что сопротивляться желанию вступить в его команду было очень трудно. Его слова не были словами раввина, они звучали и более страстно, и менее ортодоксально. Скорее, именно его подтянутая спортивная фигура заставляла видеть в нем не проповедника, а полковника, обращающегося с приветственной речью к своему юному войску, той армии, на которую он возлагал свои самые заветные надежды и чаяния, что проскальзывали в его словах.

Потом началось представление, и бесстрашный Борджини попытался противопоставить сметающему все на своем пути катку войны маленькие магические трюки: разноцветные шелковые платки в рукаве – против пушек, карточные пики – против истребителей-бомбардировщиков. И самым удивительным оказалось то, что в течение тех секунд, пока цвели глуповатые улыбки на лицах, победу праздновала магия.

Целеустремленного вида девица с пачкой листов в руках подошла к Дите и протянула ей один из них.

– Ты тоже можешь к нам присоединиться. Мы организуем летний лагерь в Безправии на реке Орлице, где будем заниматься спортом и укреплять еврейский дух. Вот, здесь ты прочтешь, чем там можно будет заняться.

Дитиному отцу такие вещи не особенно импонировали. Как-то раз, уже давно, ей привелось услышать разговор отца с дядей: он говорил, что не любит, когда смешивают спорт и религию. Речь шла о том, что некто Хирш организует для детей партизанские забавы: они там роют траншеи, из которых потом вроде как «стреляют». И он знакомит их с техникой ведения боя, словно ребята – крошечная армия под его командованием.

Но если командиром будет Хирш, то она готова залезть в любую траншею. Как бы там ни было, она завязла уже по самую шею. Они – евреи, то есть твердый орешек. Им ее не сломить, как не сломить Хирша. Не откажется она от библиотеки... Другое дело, что теперь ей нужно быть очень осмотрительной – слушать в четыре уха и смотреть в четыре глаза, внимательно всматриваться даже в тени вокруг Менгеле, чтобы самой в них не попасться. Она – четырнадцатилетняя девчонка, а они – самая могущественная в истории военная машина истребления, но она не будет молча следить за их парадом. На этот раз – нет. Она будет сопротивляться.

Чего бы ей это ни стоило.

Однако Дита – не единственный обитатель концлагеря, который перемешивает свои мысли в миксере бессонницы.

Фреди Хирш как ответственный за барак 31 пользуется привилегией спать в своей отдельной комнатке. Кроме того, эта комната расположена в бараке, где ночует он один. Поработав какое-то время над очередным рапортом, он выходит из нее и встречает безмолвие барака, в котором еще слышатся отголоски дневных шумов, дневной суматохи. Затихли голоса,

закрылись книги, допеты песни... После шумного исхода ребятни школа вновь становится всего лишь грубым деревянным ангаром.

– Они – лучшее, что у нас есть... – повторяет сам себе Хирш.

Закончился еще один день и еще одна инспекция. Каждый день – битва, в которой нужно одержать победу. И как будто кто-то вытащил затычку из надувного мяча, атлетическая грудь колесом опадает и прямые ключицы уходят в плечи. Внезапно он понимает, как сильно устал. Просто изможден, только никто не должен об этом знать... Он – лидер. У него нет права на уныние. Люди верят в него, и он не может обмануть их ожидания.

Если бы они только знали...

Он обманывает, обманывает их всех. Если бы они знали, кто он на самом деле, то те же, кто сейчас его обожает, его бы возненавидели.

Хирш чувствует себя усталым, выжатым как лимон. Именно поэтому он укладывается лицом вниз, упираясь руками в пол, и начинает отжиматься. Как тренер он неоднократно говорил своей команде: усталость преодолевается упражнением.

Вниз – вверх, вниз – вверх.

Свисток, никогда не снимаемый им с груди, ритмично бьется об утоптаный земляной пол. Скрывать и таить – это как день и ночь таскать за собой гирию, привязанную к ноге, но он знает, что делать это необходимо, как необходимо сжать зубы, когда сводит от боли мышца при очередном разгибании рук. Нужно продолжать – вверх и вниз, вверх и вниз. Ритмичный стук металлического свистка о землю стихать не должен. Сожми зубы.

Вверх – вниз.

«Слабость – грех», – шептывает он себе под нос практически без одышки.

Хирш думает, что правда делает людей сильными. Правда – престижна, говорить правду – удел мужественных людей. Но верно и то, что порой правда обездвигивает все, чего ни коснется. Поэтому он еще крепче сжимает зубы, начиная новую серию отжиманий. И пока пот струится по его спине, он размышляет о том, что оставить при себе, в своем сердце, эту грязную правду и страдать от ее жара одному, чтобы больше никого она не опалила, – это тоже своего рода проявление великодушия. Великодушия или трусости? Разве не боится он утратить уважение к себе, с таким трудом завоеванное? И решает больше не думать об этом, а продолжать считать количество отжимов и стискивать зубы.

Именно по этим причинам спорт всегда был для него не тяжелой обязанностью, а освобождением. В Аахене, немецком городке близ границы с Бельгией и Голландией, где в 1916 году родился Фреди Хирш, все дети ходили в школу пешком. Он же был единственным мальчишкой, который в школу бегал: с книжкой и тетрадкой, связанными за спиной веревкой. Уличные торговцы с нескрываемой насмешкой спрашивали, куда это парень так торопится, а он в ответ только вежливо здоровался, не сбавляя скорости. И не то чтобы он опасался куда-то опоздать или по какой-то причине очень спешил – нет, просто Фреди нравилось бегать. Когда кто-нибудь из взрослых обращался к мальчику с вопросом о том, почему он всегда и везде передвигается рысцой, он неизменно отвечал, что ходьба его очень утомляет, настолько, что он сразу же выбивается из сил, а вот бег – совсем другое дело.

Мальчик добегал до небольшой площади, на которую выходила школа, и, пользуясь тем, что в ранний час скамейка на ней еще была свободна от греющихся на солнышке стариков, использовал ускорение бега, чтобы одним махом перепрыгнуть через нее, словно преодолевал полосу препятствий. Его мечта – стать профессиональным легкоатлетом, о чем при каждом удобном случае он сообщал всем и каждому в классе.

В десятилетнем возрасте детство Фреди, сотканное из энергичных прыжков и футбольных матчей на ближайших пустырях, после смерти отца раскололось на тысячу осколков. Во время небольшой передышки на табурете посреди мрачного барака он пытается вызвать в памяти облик отца, но не выходит – в те времена память его была еще слишком мягким мате-

риалом. И теперь лучше всего вспоминается не что иное, как дыра, оставленная в его душе отцовским уходом. Возникшая в нем пустота проникла так глубоко, что так никогда и не заполнилась. До сих пор ощущает он в себе эту тревожную пустоту, это чувство одиночества, даже когда он – в окружении людей.

Тогда у него вдруг кончились силы – и чтобы бегать тоже. Бег внезапно ему разонравился. Он оказался выбит из привычной жизни. Мать после смерти отца была вынуждена проводить дни на работе, и, не имея желания оставлять сына дома одного и опасаясь возможных драк со старшим братом Фреди, она записала младшего в «Юдишер Пфадфиндербунд Дойчланд» (ЮПД), детско-юношескую организацию, созданную как германско-еврейский аналог бойскаутов, в которую входила в том числе и спортивная секция под названием «Маккаби Хат-цайр».

Когда мальчик в первый раз вошел в просторное и довольно обшарпанное помещение организации, к дверям которой кнопкой был приколот список правил поведения ее членов, в носшибанул резкий щелочной запах. Запах запомнился очень хорошо, как и тот факт, что пришлось глотать слезы, чтобы не разреветься на людях. Несмотря на это, постепенно маленький Фреди Хирш обрел в ЮПД то человеческое тепло, которого ему так не хватало в опустевшем доме, откуда навечно ушел отец и где почти никогда не было мамы. Здесь он нашел свое место: товарищество, чувство локтя, настольные игры, когда идет дождь, а также походы, в которых никогда не обходилось без гитары или трогательных историй о мучениках Израиля.

Футбол, баскетбол, бег в мешках и соревнования по легкой атлетике оказались для него тем спасительным кругом, за который мальчик смог уцепиться. Когда наступала суббота и дети оставались дома с родителями, только Фреди выходил в одиночку на спортплощадку побросать мяч в проржавевшее кольцо баскетбольной корзины или выполнить длиннющие серии упражнений для мышц живота, после которых футболка была хоть выжимай.

Тренировки до изнеможения стирали из души тоску и развеивали сомнения. Он сам ставил для себя цели: пробежать до угла и обратно пять раз быстрее чем за три минуты, отжаться десять раз и при последнем отжимании хлопнуть ладонями в воздухе, попасть с определенного расстояния мячом в четыре разные корзины за такое-то количество попыток... И пока Фреди был сосредоточен на достижении своих целей, он не думал ни о чем другом, он был счастлив и не вспоминал о том, что потерял отца как раз тогда, когда в наибольшей степени в нем нуждался.

Мать его снова вышла замуж, и всю свою юность Фреди гораздо уютнее чувствовал себя в ЮПД, чем в собственном доме. После уроков он напрямик направлялся туда, и у него всегда находилось для матери объяснение, почему до самого вечера он не возвращается домой: собрания юношеского совета, членом которого он к тому времени стал, организация экскурсий и походов, спортивных конкурсов и соревнований, поддержание чистоты и порядка в здании ЮПД... Вместе с тем, по мере того как Фреди вырос, его способность общаться с мальчиками и девочками своего возраста постепенно уменьшалась; многие из них не разделяли ни свойственный ему горячий сионистский мистицизм, заставлявший считать возвращение в Палестину миссией, ни его выходящую за рамки разумного страсть заниматься спортом все то время, когда не спишь. Его начали приглашать на вечеринки, где завязывались первые отношения и первые пары, но Фреди там было неловко, и, поскольку он без конца придумывал самого разного рода отговорки, звать его перестали.

Он открыл для себя, что больше всего ему нравится создавать команды и организовывать соревнования для самых маленьких, что у него всегда отлично получалось.

Страсть, которую вкладывал Фреди в создание и тренировку волейбольных и баскетбольных команд, передавалась и его подопечным, так что они заражались его энтузиазмом. Его команды всегда боролись до последнего.

– Давайте, давайте! Вперед! Подбавьте жару! – подбадривал Фреди своих мальчишек с тренерской скамейки. – Не бьешься за победу – не плачь, когда проиграешь!

Фреди Хирш не плачет. Никогда.

Вверх – вниз, вверх – вниз, вверх – вниз.

Слезы в виде капель пота катятся только по его напряженным мышцам, которые растягиваются и сжимаются автоматически, пока он не завершает свою бесконечную серию отжиманий. Он поднимается, довольный собой. Настолько, насколько может быть доволен собой человек, скрывающий правду.

5

Руди Розенберг прожил в Биркенау уже около двух лет, что само по себе подвиг. Все благодаря редкой удаче, которая превратила его в старожила лагеря девятнадцати лет от роду и усадила на место регистратора. Регистратор целыми днями делает записи в книгах учета заключенных – прибывших и выбывших – в таком месте, в котором круговорот людей является трагической константой. Работа регистраторов весьма высоко ценится нацистами в силу их скрупулезного отношения ко всему, в том числе и к истреблению. По этой причине Руди Розенберг не носит полосатую робу обычного заключенного. Он гордится своими затертыми брюками для верховой езды, которые при любых других обстоятельствах давно были бы отправлены на помойку, но не в Аушвице, где этот предмет одежды считается роскошью. Все заключенные, кроме *капо*, поваров и пользующихся особым доверием работников, в число которых входят регистраторы и старшие по блокам, носят грязные полосатые робы. За редким исключением. Обитатели семейного блока – как раз исключение.

Руди проходит пост карантинного лагеря, к которому приписан, адресуя охранникам вежливую улыбку образцового заключенного. И не встречает возражений в ответ на свое сообщение о необходимости по долгу службы пройти в лагерь ВІІd для составления списков.

Он шагает по хорошо утоптанному лагерному проспекту, соединяющему по внешнему периметру все части лагерного комплекса Биркенау, и видит вдали окраину леса – линию деревьев, которые в этот зимний вечер сливаются в темное пятно. Порыв ветра доносит до него сладкий запах влажной древесины, мха и грибов. На секунду, чтобы насладиться лесным ароматом, он закрывает глаза. Так – мокрым лесом – пахнет свобода.

Его пригласили на тайное собрание, на котором речь пойдет о загадочном семейном лагере. В голове юного регистратора всплывают некие смутные воспоминания о событиях, имевших место несколько месяцев назад, хотя здесь – в вырванном из реальности *лагере* – они кажутся древними, принадлежащими некой непонятной эпохе. Часы в Аушвице сходят с ума – так теряют ориентацию ведьмы, слишком близко подлетевшие на метлах к Северному полюсу.

Это случилось одним сентябрьским утром. Руди ожидал обычную рутину: сморщенных людей в арестантских робах, наголо обритых, пока еще не отошедших от шокирующей встречи с миром Аушвица – ограниченного колючей проволокой пространства, насквозь пропахшего смрадом сжигаемой плоти. Ожидал увидеть одинаково ошарашенные лица: беспомощность – отличный уравнилитель всего и вся. Но когда он поднял глаза, то из-за стола на него смотрела живая мордашка веснушчатой девчушки с двумя русыми косичками, прижимавшей к себе плюшевого мишку. Он растерялся. Девочка не отрывала от него глаз. Повидав столько жестокостей, словак Руди уже позабыл, что на мир можно смотреть и так: без страха, без ярости, без признаков сумасшествия. Девчонке было шесть лет, и она оставалась в Аушвице живой. Ему это показалось настоящим чудом.

Ни он, ни Сопротивление никак не могли взять в толк, по какой причине нацисты оставили в живых детей. Нечто похожее имело место только один раз, в концлагере для цыган: детей доктор Менгеле использовал для своих расовых экспериментов. Однако с еврейскими детьми такого раньше не случалось. В декабре прибыл еще один транспорт, и снова – из гетто в чешском Терезине.

Процедура встречи каждого вновь прибывающего транспорта одинакова. Сначала людей толчками и ударами выгоняют из вагонов. Мужчин отделяют от женщин – образуются две огромные группы. Прямо на перроне каждый из прибывших один за другим проходит перед медиком, который занимается сортировкой: кого-то отправляет направо, кого-то – налево. Здоровых, кого еще можно использовать в качестве рабочей силы, в одну сторону. Стариков, детей, беременных и больных – в другую. Этим не суждено даже ступить на территорию лагеря: прямо

с перрона их отведут в верхнюю часть Биркенау, где днем и ночью работают крематории. Там их ждут газовые камеры.

Когда Руди Розенберг приходит на место встречи – к заднему торцу одного из барачков лагеря ВІІd, его ожидают двое. Один из них – болезненно бледный, в поварском фартуке, представляется Лемом – без каких-либо дальнейших подробностей. Второй – Давид Шмулевский, начинавший в концлагере кровельщиком, а теперь занимающий должность ассистента *блок-эльтестера* барака 27 лагеря ВІІd. Он одет в гражданское: заношенные суконные брюки и свитер – не менее помятый и морщинистый, чем его лицо. Это лицо – гравюра всей его жизни.

У них уже есть основная информация о прибытии новой, декабрьской партии узников в семейный лагерь ВІІd; теперь им нужно, чтобы Розенберг сообщил как можно больше деталей. Словак подтверждает данные о прибытии в декабре пяти тысяч евреев из Терезина. Их привезли двумя составами с интервалом в три дня. Так же, как это было с прибывшими в сентябре, им позволили остаться в своей одежде. Более того, им не обрили головы и оставили детей.

Оба руководителя Сопротивления молча слушают Руди Розенберга. Обо всем этом они уже знают, но понять не могут: чтобы такая фабрика смерти, как Аушвиц-Биркенау, максимально использующая рабский труд узников, согласилась на совершенно нерентабельную затею – отдать один из своих лагерей под семейное размещение? Что-то здесь не вяжется.

– Нет, не понимаю... – бормочет себе под нос Шмулевский. – Нацисты, конечно, психопаты и преступники, но никак не дураки: на что в лагере рабского труда сдались им маленькие дети, если их нужно кормить, они занимают место и при этом не приносят никакой пользы?

– Может, это какой-то широкомасштабный эксперимент безумного доктора Менгеле?

Ответа ни у кого нет. В своем рассказе Розенберг доходит до самого интригующего. В сопроводительных бумагах к сентябрьскому транспорту была загадочная приписка: «*Зондер-бехандлинг* (особое обращение) по прошествии шести месяцев». Подтверждением чему служит шифр «SB6», набитый рядом с индивидуальным номером на татуировках людей этой партии.

– Удалось ли хоть что-то выяснить относительно этого «особого обращения»?

Вопрос повисает в воздухе – никто на него не откликается. Повар-поляк принимается отковыривать засохшую грязь с фартука, который весьма далек от того, чтобы называться белым. Отковыривание всяческих наслоений на фартуке стало для повара своего рода зависимостью, как для иных – курение. Шмулевский тихо проговаривает то, что крутится в голове у всех: здесь обращение с людьми настолько особое, что ведет к смерти.

– И все-таки: какой в этом смысл? – обращается к нему с вопросом Руди Розенберг. – Если от них хотят избавиться, то какой смысл тратить на питание в течение полугода? Здесь нет логики.

– Логика должна быть. Если, работая с ними, ты чему-то учишься, так только тому, что все и всегда имеет свою логику. Какую угодно – жуткую, бесчеловечную... но логика всегда найдется. Ничто не является случайным и не происходит просто так. Должно быть что-то еще. Немцы жить не могут вне какой бы то ни было логики.

– Предположим, что особое обращение – это отправка всех в газовую камеру... И что мы сможем сделать?

– На данный момент – не слишком много. У нас даже нет уверенности, что речь идет именно об этом.

В эту минуту к ним присоединился еще один – высокий, сильный и, судя по всему, очень расстроенный. Этот человек, как и собравшиеся, робу не носит, а щеголяет в свитере с высоким воротом – большая редкость в лагере. Руди собирается уйти, чтобы не мешать чужому разговору, но поляк движением руки просит его остаться.

– Спасибо, что пришел, Шломо. У нас очень мало информации о работе зондеркоманды.

– Я всего на минуту, Шмулевский.

Парень усиленно жестикулирует, когда говорит. Отталкиваясь от этой детали, Руди делает вывод, что этот человек – южанин, и попадает в точку, потому что Шломо родом из общины итальянских евреев греческого города Салоники.

– Нам мало что известно о том, что творится в газовых камерах.

– Сегодня утром только через второй крематорий пропустили еще три сотни. Почти все – женщины и дети. – Он останавливается и оглядывает собеседников. Обдумывает, действительно ли сможет объяснить необъяснимое. Яростно вскидывает руки и обращает лицо к небу, но оно затянуто низкими тучами. Сегодня ему пришлось помочь разуться маленькой девочке, потому что у матери на руках был грудничок, а в камеру нужно входить голыми. «Девчушка забавлялась, показывая мне язык, пока я стягивал с ее ножек сандалии, – ей еще и четырех не исполнилось».

– И они ни о чем не догадываются?

– Господи помилуй... Да они ж только что с поезда – три дня в пути в тесном вагоне, растеряны, испуганы. Эсэсовец с автоматом в руках объявляет, что сейчас всем следует пройти санобработку, принять душ, и ему верят. А что им еще остается? Их просят повесить одежду на вешалки и даже запомнить номерок, чтобы потом ничего не перепутать и забрать свои вещи – так их заставляют поверить в то, что они вернутся. А еще им велят связать ботинки шнурками – чтобы пара не растерялась. На самом деле это для того, чтобы потом было проще собрать обувь и отвезти в блок «Канада», где лучшие пары отберут и отправят в Германию. Немцы – они всему находят применение.

– А ты? Сам ты людей предупредить не можешь? – вступает в разговор Руди.

И в ту же секунду чувствует на себе суровый взгляд Шмулевского. У Руди здесь вообще-то права голоса нет – ни для вопроса, ни для голосования. Но грек-итальянец отвечает и делает это в свойственной ему тяжеловесной манере: моля Бога о прощении при каждом слове, которое срывается с его языка.

– Да простит меня Господь. Нет, я их не предупреждаю. Зачем? Что может сделать мать с двумя ребятишками? Восстать против вооруженных охранников? Ну, ее побьют у них на глазах, будут бить ногами. Это они и так делают. Если кто-то задаст вопрос – ему отвечают прикладом в зубы. Чтобы больше ничего не спрашивал и не вякал, и после этого никто уже ничего не спросит – все отворачиваются. Эсэсовцы следят за тем, чтобы ничто не препятствовало процессу. Однажды в партии была пожилая дама – очень хорошо одетая, осанистая такая, с внуком лет шести-семи. Она знала, что их убьют, откуда – без понятия, но она все знала. И бросилась в ноги одному эсэсовцу, встала перед ним на колени – молить, да не за себя, за внука: убейте меня, говорит, а его отпустите. Знаете, что он сделал? Расстегнул ширинку, вытащил член и стал на нее мочиться. Вот так. Униженная женщина вернулась на свое место. Сегодня тоже была одна – видно, что из хорошей семьи, такая элегантная. Очень стеснялась раздеваться при людях. Я встал перед ней, спиной, вроде ширмы. А потом ей было так неудобно стоять перед нами голой, что она дочкой прикрывалась, но меня все же поблагодарила улыбкой, милая такая улыбка... – На мгновение он остановился; слушатели его тоже молчали, даже головы повесили, как будто чтобы не смотреть на стыдливую обнаженную мать, прижимающую к себе дочку. – Обе вошли в камеру вместе со всеми... Прости, Господи. Их туда битком набивают, знаете? Стараются затолкнуть побольше, сколько влезет. Если в партии есть мужчины покрепче, то их оставляют напоследок, а потом загоняют туда ударами прикладов, чтобы те поднажали на толпу. Затем дверь помещения закрывают – а внутри действительно есть несколько душевых леек, чтобы люди ничего не подозревали и верили в то, что пришли мыться.

– А что потом? – спрашивает Шмулевский.

– Мы открываем специальную емкость, и эсэсовец вставляет туда баллон с газом «Циклон». Потом нужно выждать – минут пятнадцать, может, меньше... А затем – тишина.

– Они страдают?

Глубокий вздох, за ним – взгляд в небо.

– Да простит меня Господь... даже и представить страшно, что это такое. Когда потомходишь, то видишь клубок сплетенных тел. Понятно, что многие умирают от того, что их задавили, и задыхаются тоже. Когда поступает отравка, тело, должно быть, реагирует жутким образом – удушье, судороги. Трупы перепачканы экскрементами. Глаза вылезают из орбит, идет кровь. Как будто организм взрывается изнутри. Руки скрючены, переплетены с другими руками, словно в едином порыве отчаяния, шеи вытянуты вверх, того и гляди головы оторвутся.

– А в чем заключается твоя работа?

– Я должен отрезать волосы, прежде всего длинные, косы. Потом эти волосы грузят в кузов машины. Так как моя работа – из самых легких, иногда мне ее заменяют на работу других членов команды – выдирать золотые зубы. Или перетаскивать трупы на транспортер, который доставляет их из подвала наверх, в печь крематория. Переносить их просто ужас как трудно. Сначала тело нужно отделить от других, а ведь там настоящий клубок, склеенный кровью и другими жидкостями. Берешь за руки – а они мокрые. Скоро у тебя самого руки такие скользкие, что ты уже ничего не можешь ими ухватить. Под конец мы помогаем себе тростями умерших стариков, а трупы хватаем за головы, со стороны затылка, так лучше всего получается. Ну а наверху их сжигают.

– Мне приходилось слышать, что оружие тоже используется.

– Только для содержимого так называемого уборочного грузовика, это уже в самом конце. Он привозит с перрона тех, кто не может идти сам: инвалидов, больных, глубоких стариков. Так он останавливается напротив крематория, поднимает кузов и высыпает людей на землю, как гравий. Раздевать их и заносить в газовую камеру считается слишком трудоемким. Наша задача – поднять каждого, одного за другим, за ухо и руку, чтобы эсэсовец выстрелил человеку в голову. А потом, оставляя тело, нужно эту голову быстро опустить, потому что кровь хлещет фонтаном, а если брызнет на эсэсовца, то он рассердится и накажет, может даже пристрелить – там же, на месте.

– О скольких убийствах в день идет речь?

– Да кто же его знает. Мы работаем в две смены – дневную и ночную, крематорий никогда не останавливается. По меньшей мере двести-триста трупов за смену, и это только в нашем крематории. Иногда одна партия в день, иногда две. Бывает и так, что печь не справляется, и нам приказывают вывезти трупы в лес, на поляну. Мы грузим их в машину, а потом снова разгружаем.

– Вы их закапываете?

– Ну, для этого нужно слишком много рабочих рук! Немцы не хотят. Да простит меня Господь. Мы обливаем их бензином и поджигаем. Потом мы должны собрать лопатами пепел и закинуть в грузовик. Думаю, что пепел используют как удобрение. Некоторые кости слишком большие, не сгорают. Их приходится измельчать.

– Бог ты мой... – слышится шепот Руди.

– На всякий случай, если кто-то еще не понял, – сурово оглядывая всех, произносит Шмулевский, – это Аушвиц-Биркенау.

Во время этого мрачного разговора, на расстоянии двух лагерей от беседующих, Дита доходит до барака 22, расположенного рядом со вторым туалетным блоком. Она внимательно оглядывается по сторонам: нет ли поблизости охранника или чего-нибудь подозрительного. Ничего такого, но она все равно не может отделаться от липкого ощущения, что за ней наблюдают. И все-таки Дита входит в барак.

Тем утром, после проверки, внимание Диты привлекла одна пожилая женщина, которая выискивала что-то возле ограды из колючей проволоки, несмотря на запреты. Пани Турновская, которую Дита окрестила «Радио Биркенау», тут же пояснила матери Диты, что эта жен-

щина, вследствие попустительства охранников, пользуется некоторой свободой. Она портниха, и все зовут ее Дудинце, по названию ее родного города на юге Словакии. Возле ограды она подбирает отломанные кусочки проволоки, которые можно заострить при помощи камня и сделать себе примитивные иголки для шитья.

Дита приняла твердое решение: не уходить со своего поста библиотекаря, – но ей нужно придумать, каким образом сделать это занятие наименее для себя опасным. После вечерней поверки и до сигнала отбоя, после которого запрещено выходить из бараков, наступает время разного рода обменных операций. Дудинце принимает своих клиентов именно в это время. Она уверяет, что ее услуги – самые дешевые во всей Польше: укоротить жакет – половина хлебной пайки, привести в порядок пояс на брюках – две сигареты, сшить платье из материала заказчика – целая пайка хлеба.

Расположившись на нарах, словачка, к губе которой приклеена сигарета, отмеряет ткань портновским метром, собственноручно изготовленным – на глазок – из узкой полоски кожи. Подняв взгляд, чтобы узнать, кто это застит ей свет, она видит перед собой худую девчонку с растрепанной головой и решительным взглядом.

– У меня заказ: нужно, чтобы вы пришили два внутренних кармана на мою блузу, на уровне талии. Прочные.

Женщина берет пальцами остаток своей сигареты и делает глубокую затяжку.

– Ластовицы под одеждой, ясно. А для чего тебе понадобились эти потайные карманы?

– Я не говорила, что они потайные...

Дита старательно улыбается, пытаясь сойти за дурочку. Женщина смотрит на нее, подняв брови.

– Слушай, я ведь не вчера родилась.

Дита уже раскаивается, что пришла сюда. По лагерю ходят слухи об осведомителях, готовых продать своих соседей по бараку за половник похлебки или полпачки сигарет. А Дита уже отметила, как курит эта портниха – ни дать ни взять разорившаяся вампириша.

Баронесса Хабарик – наделяет прозвищем портниху Диту.

Но тут же ей в голову приходит мысль, что если бы у этой женщины были привилегии стукачки, то ей не нужно было бы вечер за вечером заниматься шитьем в тусклом свете барачных ламп. И в душе Диты рождается теплая волна сочувствия к ней.

Нет, лучше пусть будет княгиней Заплаткой.

– Ну хорошо, все так. Немного потайные. Дело в том, что я хочу носить при себе кое-какие вещицы моих покойных бабушек – память о них.

И Дита вновь напускает на себя вид наивной девчушки.

– Слушай, дам тебе один совет. Кроме всего прочего, даю его совершенно бесплатно. Если не умеешь врать, то с этого самого момента тебе лучше всегда говорить правду.

И женщина делает еще одну затяжку, да такую глубокую, что чуть не обжигает себе желтые от никотина пальцы. Дита краснеет и опускает голову. Теперь легкая улыбка трогает губы старой Дудинце, словно у бабушки при виде проделок внучки-непоседы.

– Послушай, девочка, мне вообще до лампочки, что ты будешь там хранить, хоть пистолет. Буду только рада, если он там и окажется и тебе удастся всадить пулю в кого-нибудь из этих мерзавцев. – Сказав это, она сплюнула на пол тягучую темную слюну. – Я задаю тебе эти вопросы только для того, чтобы понять, будешь ли ты носить в этих карманах что-то тяжелое, потому что если это так, то через блузу это будет видно. В таком случае лучше сделать от боковых швов специальные завязки, они помогут.

– Тяжелое будет. Но, боюсь, не пистолет.

– Ладно-ладно. Это меня не интересует. Меньше знаешь – крепче спишь. Ты материал принесла? Нет, конечно. Ничего, тетя Дудинце найдет какой-нибудь годный на это дело лоскут.

Работа будет тебе стоить полпайки хлеба и полагающийся к нему маргарин, а материал – еще четверть пайки.

– Хорошо, – сразу соглашается Дита.

Портниха воззрилась на нее с удивлением, причем даже с большим, чем в тот раз, когда решила, что Дита собирается носить на себе оружие.

– Ты что, не торгуешься?

– Ну да, не торгуюсь. Вы делаете работу, за нее положено вознаграждение.

Женщина смеется и тут же закашливается. Потом сплевывает в сторону.

– Эх, молодежь! Ничего не знают о жизни. Чему же вас учит молодой красавец директор? Ладно, ничего нет плохого в том, что еще кое-что осталось от наивности. Слушай меня, я не возьму с тебя масло – я уже сыта по горло этой желтой замазкой. Только полпайки хлеба. Материала пойдет немного, я его тебе дарю.

Когда Дита покидает княгиню Заплатку и торопливо выходит из чужого барака, направляясь в свой, на улице уже совсем стемнело. В такое время неожиданные встречи ей совсем не нужны. Но вдруг чьи-то пальцы сжимают ее руку, и из горла Диты вырывается истерический визг.

– Да это же я, Маргит!

Горло отпустило, и к Дите возвращается способность дышать. Подруга с тревогой смотрит на Диту.

– Ну и вопль! Ты чего? Что-то ты сама не своя, Дита. С тобой что-то случилось?

Маргит – единственный человек, с кем Дита может поделиться.

– Все из-за этого проклятого доктора... – Она даже не может подобрать для него прозвище: голова перестает работать, как только возникает его образ. – Он мне угрожает.

– О ком ты говоришь?

– О докторе Менгеле.

Маргит в ужасе закрывает рот рукой. Как будто прозвучало имя дьявола. В общем-то, так оно и есть.

– Он пообещал не спускать с меня глаз. И что если он застанет меня за каким-нибудь странным занятием, то разрежет, как телушку на бойне.

– Боже мой, какой ужас! Тебе нужно беречься!

– И как ты хочешь, чтобы я береглась?

– Ты должна быть очень осторожной.

– Я и так очень осторожна.

– Вчера вечером у нас в бараке на нарах рассказывали такие ужасы!

– Какие?

– Я слышала, как подруга моей мамы говорила о том, что Менгеле поклоняется дьяволу: ходит в лес по ночам с черными свечами.

– Какая глупость!

– Правда-правда, об этом все говорят. Им *капо* рассказывала. И еще сказала, что среди высшего руководства нацистов дьявольский культ распространен и поощряется. А в Бога они не верят.

– Да, о чем только не болтают...

– Они язычники. И поклоняются Сатане...

– Ладно, а вот нас хранит Господь Бог. Более или менее.

– Не говори так, это нехорошо! Конечно же, Бог нас хранит.

– Ну, что касается меня, то я что-то не слишком чувствую его защиту.

– Он учит нас, что мы и сами должны о себе заботиться.

– Вот этим я и занимаюсь.

– Менгеле – не человек, а дьявол во плоти. Говорят, что он вскрывает животы беременным – скальпелем и без обезболивания, и зародышей тоже. Вводит тифозную палочку здоровым людям, а потом наблюдает за развитием болезни. Группе польских монахинь он сделал столько сеансов рентгеновского облучения подряд, что они сгорели. Рассказывают, что он принуждает спариваться близняшек женского пола с близнецами мужского, чтобы узнать, ведет ли это к рождению близнецов. Представляешь, какая мерзость? Еще он проводит пересадку кожи, а потом пациенты умирают от гангрены...

Девочки ненадолго замолкают, рисуя в своем воображении лабораторию ужасов доктора Менгеле.

– Тебе следует быть очень осмотрительной, Дита.

– Да я же тебе сказала, что уже стала осмотрительной!

– Еще больше.

– Мы в Аушвице. Что ты мне предлагаешь сделать? Прибегнуть к страхованию жизни?

– Ты должна очень серьезно относиться к угрозе Менгеле! Молись почаще, Дита.

– Маргит...

– Да?

– Ты говоришь точь-в-точь как моя мама.

– А это плохо?

– Не знаю...

Обе умолкают, пока Дита не решается продолжить разговор:

– Моя мама не должна об этом знать, Маргит. Ради всего святого. Она будет волноваться, не спать, и в конце концов ее тревога доконает и меня.

– А твой папа?

– С ним тоже все не очень хорошо, хотя он и уверяет, что прекрасно себя чувствует. Его я тоже не хочу беспокоить.

– Я ничего им не скажу.

– Знаю.

– Но я думаю, что ты сама должна рассказать об этом своей маме...

– Маргит!

– Ладно-ладно! Это твое дело.

И улыбнулась. Маргит – как старшая сестра, которой у Диты никогда не было.

Дита направляется в свой барак под звуковое сопровождение похрустывающего под подошвами ледка. А еще ее сопровождает странное ощущение вперившегося ей в спину взгляда, хотя, оглянувшись, она различает в темноте единственную пару глаз – красноватые огни крематория, издаലെка приобретающие черты то ли потусторонности, то ли кошмарного сна. В целости и сохранности добирается Дита до своего барака и, поцеловав маму, сжимается в комочек рядом с необыкновенно уродливыми ногами старожилки. Ей даже показалось, что та немного сдвинулась, чтобы девочка могла устроиться поудобнее, хотя женщина ничего не ответила, когда Дита вежливо пожелала ей спокойной ночи. Девочка знает, что уснуть ей будет нелегко, но упрямо закрывает глаза и изо всех сил сжимает веки, чтобы дать бой бессоннице. Переупрямить себя удается, и Дита засыпает.

После утренней поверки первое, что делает Дита, – раньше всех появляется перед комнатой *блокэльтестера*. Три медленных, с интервалами, стука в дверь, и Хирш знает, что за ней – библиотечарша. Он отпирает дверь и сразу же захлопывает ее за спиной девочки. Дита проворно открывает дверцу тайного книжного хранилища и вынимает из него заказанные на сегодня книги. Каждый день – не более четырех. Если заказов поступает больше, то просителю приходится подождать до завтра, потому что больше четырех в потайные карманы ее блузы не помещается.

Чтобы разместить книги по карманам, нужно на несколько пуговиц расстегнуть блузку. Взгляд Фреди обращен на нее, и секунду она медлит. Приличной девушке не следует находиться один на один в комнате мужчины. И уж тем более – расстегивать в его присутствии пуговицы. Если об этом узнает мама – разразится настоящая катастрофа. Но у нее нет времени, слишком опасно: в любой момент кто угодно может постучать в дверь старшего по блоку. Дита расстегивает блузку, и показывается одна из ее юных грудок. Тут и он понимает, в чем дело, и отводит глаза на дверь. Она заливается краской, но в то же время ее охватывает гордость. Теперь-то он поймет, что не может относиться к ней как к маленькой девочке.

Сквозь холстяные карманы на уровне живота пропущена полоска ткани – она скрепляет карманы между собой и не дает им болтаться, когда они нагружены. Четыре книги едва видны под этой широкой блузой, которую тело Диты заполнить никак не может. Старший по блоку сразу же одобрил идею Диты прятать книги под одеждой. На сегодня – всего два заказа, поданные вчера: учебник алгебры и «Очерки истории цивилизации».

И вот девочка выходит из комнатки *блокэльтестера* вроде бы такой, как и вошла: в руках ничего нет, оба томика надежно спрятаны под блузой. Никому, кто видел бы, как она входит и чуть позже выходит, не пришло бы в голову, что она вынесла оттуда книги. Пользуясь минутной суматохой, когда после утренней поверки шеренги рассыпаются и дети собираются в группы для занятий, Дита уходит в дальний конец барака. Прячется за сложенными там дровами и вынимает из-под одежды книги. Обитатели барака видят Диту с книгами в руках, но понятия не имеют, откуда эти книги взялись. Настоящий фокус, создающий вокруг нее со стороны ребятшек ореол восхищенного обожания, которым может похвастаться разве только иллюзионист.

Учебник по алгебре заказал для своей группы учитель Ави Офир, а это самый старший класс. Дита на их фоне выглядит одной из многих, ничем не выделяясь, что даже немного обидно: иногда ей хочется быть чуть повыше ростом и иметь чуть более округлые формы. Поэтому в самом начале своей работы библиотекарем Дита думала, что будет так: она подойдет к группе, протянет учителю книгу, и никто не обратит на это внимания. И тут же, как тень, она исчезнет среди наполняющих барак людей. Но Дита ошибалась.

Стоит ей подойти к группе, гремучая смесь инстинкта и любопытства заставляет всех, даже самых непоседливых – тех, что дергают друг друга за полы одежды или увлеченно обсуждают марки автомобилей, – бросить все свои занятия и внимательно следить за каждым ее жестом: вот Дита протягивает руку и отдает учителю книгу. Он берет книгу и медленно открывает обложку. Раскрытие книги здесь – особый ритуал.

Многие из этих детей раньше, в своих прежних школах, книги ненавидели. Книги – символы трудного ученья, бесконечных уроков, чтения под строгим учительским взглядом, домашних заданий, которые не дают пойти погулять. Здесь же книга подобна магниту: ребята не могут отвести от нее взгляд, а кое-кто даже встает с табуретки и тянется к Аби Офиру в неудержимом желании к ней прикоснуться. Эта жажда прикоснуться к книге порождает небольшое столпотворение, и учитель строгим голосом велит всем вернуться на свои места.

Глаза Диты останавливаются на Габриэле – усеянном веснушками шалопae. Габриэля никак нельзя не застать за одним из следующих занятий: воспроизведением посреди урока звуков, издаваемых разными животными, дерганьем за девчачьи косички или подготовкой очередной шалости. Но и он застыл, не сводя глаз с книги. Как и все вокруг.

В первые дни ей был непонятен этот внезапно проснувшийся интерес к книге, причем даже со стороны наименее прилежных учеников, но постепенно она поняла, что книги – это не только неразрывная связь с экзаменами, учебой и наименее приятными обстоятельствами школьной поры, это еще и символ самой жизни, жизни без колючей проволоки и страха. И даже те ученики, что никогда не открывали книгу иначе, чем со скрежетом зубным, признают теперь этот кусок прессованной бумажной массы своим союзником. Если нацисты запрещают книги, то это значит, что книги – их союзники.

Книга в руках приближает их на маленький шаг к нормальной жизни, а именно об этом они все и мечтают. Страстное желание, об исполнении которого, закрыв глаза, молятся здесь дети – это не желание получить дорогие игрушки и тому подобные излишества. Нет, они просят Бога сделать так, чтобы им можно было сыграть в прятки на городской площади и попить воды из фонтана.

Когда Дита отдает вторую книгу, она видит, что и другие учителя стараются привлечь ее внимание, показывая, что им тоже хотелось бы получить один из имеющихся в библиотеке экземпляров. Преподаватель соседней группы вытягивает по направлению к ней шею, заявляя о своей потребности, а потом – еще один. Встретившись с заместителем директора блока Лихтенштерном, Дита делится с ним своим удивлением.

– Даже не знаю, что и случилось. Внезапно посыпался шквал заказов на книги...

– Просто все увидели, что библиотечное обслуживание заработало.

Дита улыбается, немного смутившись от неожиданного комплимента и от груза ответственности. Теперь все учителя возлагают на нее большие надежды. Но она – всего лишь четырнадцатилетняя девочка, да еще и под прицелом свихнувшегося нациста, который никогда не забывает лиц!

Но это неважно.

– Пан Лихтенштерн, у меня есть предложение. Говорил ли вам пан Хирш о той системе сокрытия книг, которую я придумала?

– Да, и он всячески ее одобряет.

– Ну да, эта система облегчает жизнь при внезапной проверке. Но проверки случаются не часто. И вот что я придумала: можно, взяв за основу мои потайные карманы, изготовить еще пару таких же для еще одного добровольного библиотекаря. И тогда мы сможем держать все книги здесь в течение дня, для всех учителей сразу. И у нас будет действительно настоящая библиотека.

Лихтенштерн пристально на нее смотрит.

– Не знаю, правильно ли я тебя понял...

– Книги во время утренних уроков были бы у меня прямо здесь, на трубе отопления, и после каждого урока учителя могли бы сдавать одну и брать другую, можно было бы даже получать несколько, если все они понадобятся на уроках. А в случае проверки мы смогли бы спрятать книги, распахав их по нашим внутренним карманам.

– Ты хочешь, чтобы книги лежали на трубе? Нет, это неосторожно. Я против.

– И думаете, что пан Хирш тоже будет против?

Этот вопрос она задает с такой нескрываемой горячностью, что заместителя директора накрывает волна эмоций. Неужели эта соплячка хочет поставить под сомнение его авторитет? Похоже, что именно так, но лучше уж он сам доложит обо всем Хиршу – не хватало еще, чтобы вопрос подняла перед ним эта дерзкая девчонка.

– Я доложу пану директору, но тебе лучше об этом забыть. Хирша я знаю.

Вот в этом он ошибается. Никому не известны тщательно скрываемые тайны Хирша.

Никто ни о ком ничего не знает.

6

Лихтенштерн – единственный обладатель часов в лагере, и именно он звуком гонга – приспособленной под эти цели металлической миски с особенно тонкими стенками, которая при вибрации издает оглушительный грохот, – объявляет об окончании утренних занятий. Наступает время супа – пол-литровой порции горькой водички, в которой иногда плавают кусочки брюквы или, по большим праздникам, картошки. Несмотря на острое желание заглушить непреходящий голод, дети должны построиться и отправиться в туалетный блок, где кроме отхожих мест имеются также огромные, переделанные из поилок для скота металлические умывальники.

Дита идет в угол барака, где расположился профессор Моргенштерн, забрать у него книгу Герберта Уэллса, которая помогала ему рассказывать детям о падении Римской империи. Профессор похож на Санта-Клауса, только сильно потрепанного: с торчащей во все стороны белой шевелюрой, отросшей седой бородой и бровями, которые топорщатся белой проволокой. На плечах у него сильно поношенный пиджак с разошедшимися на плечах швами и оторванными пуговицами, но Моргенштерн разгуливает в нем с гордо поднятой головой и несколько церемонным чувством собственного достоинства. Его отличает старинная, несколько избыточная вежливость: ко всем без разбора он обращается со словами «пан» и «пани», в том числе к маленьким детям.

Книгу у него Дита принимает обеими руками – не хватало еще, чтобы упала, ведь профессор так неловок. С того выступления профессора во время последней проверки, оказавшегося очень для нее кстати, поскольку переключило на себя внимание Пастора, Дита заинтересовалась этим человеком и иногда в послеобеденные часы подходит к нему. Едва завидев ее, профессор Моргенштерн всегда поспешно вскакивает с табурета и по-версальски пышно раскланивается. А еще Дите нравится, что порой он с бухты-барахты, без всяких вступлений, начинает рассказывать о самых разных вещах.

– Ты понимаешь, насколько важно расстояние между глазами и бровями? – спрашивает он Диту, полностью захваченный этой проблемой. – Найти людей с точным расстоянием – чтобы ни больше ни меньше – дело нелегкое.

Его зажигательные речи, посвященные самым абсурдным темам, обычно извергаются бурным потоком, но иногда он внезапно умолкает с устремленным в какую-нибудь точку на потолке или вообще в никуда взглядом. И если кто-то пытается вывести его из этого ступора, он только машет рукой, требуя, чтобы его оставили в покое.

– Я слушаю... прислушиваюсь к тому, как крутятся шестеренки моих мозгов, – говорит он с самым серьезным видом.

В вечерних посиделках других преподавателей он не участвует. Да его бы там и не приняли. Большинство из них думает, что у профессора не все дома. В послеобеденные часы, когда его ученики играют с другими детьми в заднем конце барака, он обычно сидит один. Профессор Моргенштерн складывает самолетики – из немногочисленных, уже полностью исписанных и поэтому выброшенных за ненадобностью листов бумаги.

Завидев Диту, он откладывает в сторону наполовину сложенный листочек и поспешно встает, склоняя перед ней голову и окидывая девочку взглядом сквозь треснувшие стекла очков.

– Панна библиотекарша... Какая честь!

Ее немного смешит это приветствие, в общем-то лестное, потому что позволяет ей почувствовать себя взрослее. Мелькает мгновенный вопрос: а не смеется ли он над ней, но тут же она отбрасывает эту идею. У него добрые глаза. Профессор рассказывает ей о зданиях – «до войны я был архитектором». Когда она отвечает, что он и сейчас архитектор, что после войны

– времени, вычеркнутого из нормальной жизни, – он продолжит возводить здания, он добродушно смеется.

– Теперь у меня нет сил что-то возводить, я и себя-то не могу поднять с этой низкой скамеечки, не то что строение к небу.

Уже до Аушвица он, будучи евреем, несколько лет не мог работать архитектором и теперь жалуется Дите на то, что его начинает подводить память.

– Я уже не помню формул для расчета нагрузки, да и рука так дрожит, что не смогу сделать чертеж даже бассейна.

И, сказав это, снова улыбается.

Моргенштерн признается, что порой заказывает книгу, но так и не открывает ее на уроке, потому что слишком увлекается каким-то другим сюжетом.

– Так зачем же вы ее заказываете? – сердито вопрошает Дита. – Неужто не понимаете, что книг у нас очень мало и заказывать их из пустой прихоти нельзя?

– Вы совершенно правы, панна Адлерова, больше чем кто бы то ни было. Прошу меня извинить, старого эгоиста и ветреника.

Заявив это, он замолкает, и Дита не знает, что сказать в ответ. Моргенштерн выглядит искренне огорченным. И вдруг снова улыбается – сразу, без всяких там переходов. И шепотом, словно открывает секрет, сообщает ей, что лежащая на коленях книга в то время, когда он рассказывает историю Европы или исхода иудеев, позволяет ему ощущать себя настоящим преподавателем.

– Так дети лучше меня слушают и слушаются. На слова какого-то там выжившего из ума старикашки они бы и внимания не обратили, а вот если он повторяет слова книги... это уже другое дело. Книги на своих страницах хранят мудрость тех, кто их написал. К тому же книги никогда не теряют память.

И склоняет голову к Дите, чтобы поведать ей нечто в высшей степени секретное и таинственное. Она совсем близко видит его всклокоченную седую бороду и булавночно-острые глаза.

– Панна Адлерова... книги – они знают все.

Дита оставляет профессора Моргенштерна, погруженного в складывание очередного творения из бумаги – на этот раз, похоже, тюленя. Ей думается, что у профессора совсем винтики за ролики зашли, но даже если и так... то, что он говорит, одновременно и абсурдно, и исполнено глубокого смысла. Вот и не может она решить, кто же он – безумец или мудрец.

Лихтенштерн, нервно жестикулируя, подзывает Диту к себе – поговорить. Лицо его выражает бесконечную тоску. Такое выражение обычно для него, когда кончаются сигареты.

– Директор сказал, что ему нравится твоя идея.

Замдиректора вглядывается в ее лицо, думая увидеть на нем выражение триумфатора, но Дита уже не ребенок: она умеет скрывать свои чувства. В действительности на ее лице – серьезность и сосредоточенность, в то время как Лихтенштерн являет миру кислую мину. Но это на поверхности, потому что внутри душа Диты скачет от радости, безумно подпрыгивая вверх и вниз, словно на батуте.

– Он сказал «да», и этого достаточно. Он – начальник, но при малейшем признаке приближающейся проверки все книги должны быть как можно быстрее спрятаны. Все это – твоя ответственность.

Она принимает эти условия.

– Есть еще одна деталь в этой истории, против которой я решительно воспротивился, – прибавляет он, слегка оживившись, как будто этот пункт разговора бальзамом лился на его ущемленное чувство собственного достоинства. – Хирш настаивал на том, что именно у него должны быть потайные карманы на случай проверки. Мне удалось убедить его, что это полный идиотизм. Он должен встречать патруль, должен стоять в шаге от охранников, а это невозможно с грузом под одеждой. Он заупрямился. Ну, ты знаешь – он ведь немец. А я чех. Он –

жесткий, а я – упругий. И моя взяла. Каждый день тебе будет помогать новый ассистент библиотекаря.

– Прекрасно, пан Лихтенштерн! Завтра открываем публичную библиотеку!

– Лично мне вся эта затея с библиотекой кажется полным безумием. – И, уже повернувшись уходить, тяжело вздыхает. – Но разве хоть что-то здесь не является таковым?

Дита выходит из барака, тоже взбудораженная, раздумывая, как бы лучше организовать работу библиотеки. Погрузившись в эти раздумья, неожиданно для себя она видит Маргит, которая ждет ее возле выхода из барака. А прямо напротив, в дверях другого барака, который иногда используется под госпиталь, девочки замечают выходящего мужчину, толкающего тележку с накрытым брезентом трупом. Транспортировка трупов – такое обычное дело, что уже никто, кажется, не обращает на них внимания. Девочки переглядываются, но ничего друг другу не говорят – об этом лучше молчать. И они молча идут рядом, пока навстречу им не попадается Рене. Это рыжеволосая девочка, с которой Маргит познакомилась в очереди за супом. Одежда Рене выпачкана в грязи, что совсем не удивительно после длинного рабочего дня, если твоя работа – рыть дренажные канавы. Круги под глазами делают Рене старше ее возраста.

– Как же тебе не повезло с работой, Рене!

– Невезенье ходит за мной по пятам... – произносит Рене с таким таинственным видом, что обе девочки расположены самым внимательным образом ее выслушать.

Рене делает им знак рукой, и все трое ныряют в переулок между двумя бараками. За задним концом барака девчонки отходят на несколько метров от группы мужчин, которые, судя по их тихому, почти шепотом, обсуждению и острым взглядам поверх голов, которыми они проинспектировали приближающихся девочек, ведут разговор о политике. Девочки усаживаются на корточки, поближе друг к другу, чтобы было теплее, и Рене начинает свой рассказ.

– Есть тут один охранник – он на меня смотрит.

Дита с Маргит обмениваются недоуменными взглядами. Маргит не знает, что сказать, а Дита насмешливо изрекает:

– Так охранникам как раз за это и платят, Рене. Чтобы они смотрели за заключенными.

– Он не так на меня смотрит, а по-другому, как-то очень... пристально. Ждет, пока я выйду из строя на утренней проверке, а потом следит за мной взглядом, я это чувствую. И на вечерней проверке то же самое.

Дита готова отпустить еще одну шуточку по данному поводу, упомянув кокетство Рене... но, видя, как та испугана, решает прикусить язычок.

– Сначала я не обращала на него внимания, но сегодня вечером, когда он делал обход лагеря, он отклонился от обычного маршрута по *лагерштрассе* и подошел к канаве, в которой мы работали. Я так и не решилась обернуться к нему, но почувствовала, что прошел он совсем рядом. А потом ушел.

– Может, он всего лишь инспектировал дренажные работы.

– Да, но потом он сразу же снова вернулся на *лагерштрассе*. Я наблюдала за ним: больше он никуда не отклонялся. Как будто только на меня зашел посмотреть.

– А ты уверена в том, что это всегда один и тот же эсэсовец?

– Да, низенький такой. Его очень легко узнать. – Сказав это, она закрыла лицо руками. – Мне так страшно.

Рене нужно проведать маму, и она, обеспокоенная, уходит, повесив голову.

– Девушка слишком заиклилась на этом охраннике, – с нотками презрения в голосе вынесла свой вердикт Дита.

– Ей страшно. Мне тоже. А тебе, Дита, разве тебе не бывает страшно? Ведь как раз тебя держат на особом контроле. Значит, именно ты должна бояться больше нас всех, но почему-то не боишься. Ты очень храбрая.

– Что за ерунда! Конечно, я боюсь. Но не собираюсь ходить и всем встречным-попечным об этом рассказывать.

– Порой человеку совершенно необходимо высказать то, что он носит на сердце.

Немного помолчав, девочки прощаются. Дита выходит обратно на *лагерштрассе* и поворачивает к своему бараку. Пошел снег, и люди спешно расходятся по баракам. Бараки – вонючие конюшни, но там чуть теплее, чем на улице. Еще издалека Дита видит, что возле входа в барак номер 16, то есть в ее барак, нет обычных кружков людей – в первую очередь жен с мужьями, пользующимися оставшимся до отбоя часом, чтобы побыть вместе. Чуть погодя она понимает, в чем тут дело, почему никого нет. Мелодия из оперы Пуччини «Тоска» разносится в воздухе. Дита хорошо знает эту музыку – одну из любимых опер папы. Кто-то очень точно воспроизводит ее аккорды, и, присмотревшись, она различает мужскую фигуру, прислонившуюся к косяку входной двери. Голову мужчины венчает фуражка офицера СС.

– Бог ты мой...

Он, по всей видимости, кого-то ждет. Никто бы никогда не захотел оказаться этим «кем-то». Дита застывает посреди *лагерштрассе*; она пока не понимает, заметил ли ее этот человек. В эту самую секунду Диту обгоняют четыре женщины: они торопятся успеть в свой барак до отбоя, а по дороге оживленно обсуждают своих мужей. Дита делает два широких шага, догоняет четверку и пристраивается сразу за ними, чтобы они ее прикрыли. Как только они подходят к дверям барака, Дита, не поднимая головы, быстро проходит между ними вперед и почти бегом врывается в барак.

Как-то раз Дита прочла в книге об африканской фауне, что, если тебе случится оказаться перед львом, ни в коем случае нельзя убегать, а следует двигаться медленно и осторожно. Так что, возможно, побежав, она допустила непоправимую ошибку. Но тут же стала себя успокаивать тем, что, даже если эта книга дает верную информацию о том, как вести себя со львами, вряд ли она может советовать, как действовать, когда сталкиваешься с эсэсовцем-психопатом. Она переступает порог барака с опущенной головой, чтобы он ее не узнал, но все же искоса бросает взгляд на капитана медицинской службы. Однажды к ее отцу с визитом пришел ветеран Первой мировой войны. В результате осколочного ранения он потерял один глаз, и этот глаз был заменен стеклянным протезом. На всю жизнь запомнила Дита безжизненный взгляд этого стеклянного глаза, который на самом деле ничего и не видел, потому что был всего лишь куском мертвой материи. Точно таким был и взгляд доктора Менгеле – взгляд ледяных кристаллов, где нет ни жизни, ни эмоций.

Дита подумала, что голодный лев бросится за ней в погоню. Она уже добежала до своих нар и одним прыжком забирается на койку. В первый раз она рада тому, что старожилка со шрамом на лице лежит на своем месте, так что она может спрятаться, прижавшись к ее грязным ногам. Как будто, сжавшись в комочек, можно укрыться от всевидящего ока военного врача, который замечает все. Но она не слышит за собой ни торопливых шагов, ни отданных по-немецки приказов. Менгеле не бежит за ней, и осознание этого факта приносит ей моментальное облегчение.

Дита не знает, что никто и никогда не видел, чтобы он бегал. Бегать, с его точки зрения, неэлегантно. Для чего ему бегать? Заключение в лагере никуда не может спрятаться. Это как ловить рыбку в аквариуме.

Мама, увидев, как Дита вбежала в барак, принялась ее успокаивать, говоря, что волноваться не нужно: она не опоздала, до отбоя еще несколько минут. Дита кивает и даже находит в себе силы скрыть чувства и улыбнуться, как будто ничего не случилось.

Она желает спокойной ночи маме, а потом – грязным носкам старожилки, распространяющим вокруг себя запах перезревшего сыра. Ответа не получает. Но Дита его и не ждет. Она думает над вопросом: что делал Менгеле возле дверей ее барака? Если он ждал ее, если кто-то, столь могущественный, как он, считает, что она что-то скрывает от администрации лагеря...

то почему он ее до сих пор не арестовал? Она этого не знает. Менгеле вскрывает животы тысячам людей и рассматривает их внутренности своими жадными глазами, но никто не знает, что там у него в голове. Гаснет свет, и наконец она чувствует себя в безопасности. Но начинает размышлять и понимает, что ошиблась.

Когда Менгеле высказал ей свои угрозы, она сомневалась, должна ли сообщить об этом директору блока 31. Если она это сделает, ее освободят от всех обязанностей, чтобы она не рисковала. А если будет так, то все вокруг подумают, что она сама попросила освободить ее, потому что боится. Поэтому она решила, что пусть лучше все будет наоборот: пусть библиотека станет более доступной и более заметной. Она будет рисковать еще больше, чтобы ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения в том, что Дита Адлерова не боится нацистов.

«А по какому праву?» – спрашивает она сама себя.

Если рискует она, то это значит, что и все остальные подвергаются риску. Если на ней найдут книги, то закроют весь блок 31. И для пяти сотен детишек умрет мечта хоть в какой-то степени вести нормальную жизнь. Честолюбивое кокетство – желание похвастаться – привело к тому, что она забыла об осторожности. На самом деле она всего лишь заменила один страх другим: страх за свое физическое тело – на страх того, что о ней подумают. Что ж, она, стало быть, решила, что очень храбрая – со своими книгами и своей библиотекой? Но что это за храбрость? Готова подвергнуть опасности целый блок только из-за боязни потерять лицо? Хирш как раз об этом и говорил – о тех, кто закрывает глаза на опасность и подставляет других. Труссы, сказал он. Такие ему не нужны. Они не годятся. Такие льют на себя бензин, прикуривая. Когда их бравада заканчивается благополучно, им дают медаль, и они ходят – грудь колесом. А когда приводит к беде – они увлекают за собой в бездну всех окружающих.

Дита открывает глаза. Во тьме на нее смотрят только замызганные носки. Не сможет она скрыть правду в холщовых карманах своей блузы. Правда тяжела, в конце концов она прорвет любую подкладку и с грохотом вывалится наружу, круша на своем пути все подряд. Она думает о Хирше. Он – кристально чистый человек, и она не имеет права скрывать от него правду из суетного желания почувствовать себя смелой.

Это означает только одно: играть краплеными картами. Фреди этого не заслуживает.

И Дита решает, что завтра поговорит с ним. Скажет ему, что доктор Менгеле установил за ней постоянный контроль и что, следуя за ней по пятам, он может добраться до библиотеки и обнаружить истинное предназначение блока 31. Хирш ее, конечно, освободит от роли библиотекаря. И уже никто не будет с восхищением на нее смотреть. Это ее немного печалит. Никто не хвалит тех, кто остается позади. Она думает, что легко измерять степень героизма при помощи медалей и почестей. Но как измерить мужество тех, кто сам сходит с дистанции?

7

Торопливо пройдя через семейный лагерь, Руди Розенберг приблизился к ограде карантинного, где располагался его офис. Регистратор Розенберг послал Хиршу записку с просьбой о встрече и разговоре, хотя бы через ограду. К деятельности директора детского блока номер 31 Розенберг относится с большим уважением. Не обходится, правда, без злых языков, без устали перетирающих тему энтузиазма, с которым Хирш взаимодействует с нацистской администрацией лагеря, но в целом он внушает скорее симпатию и производит впечатление человека, на которого можно положиться. Шмудевский сурово пророчески, что этот человек – «из наиболее надежных в Аушвице людей, насколько они вообще здесь возможны». Розенбергу уже приходилось вступать с ним в мимолетные контакты – при беглом обмене репликами на людях. Ко всему прочему при работе со списками заключенных он успел сделать Хиршу ряд мелких одолжений. И не только из личного к нему расположения. Это поручение Шмудевского: по возможности конфиденциально собрать о Хирше как можно больше сведений. Информация в Аушвице – дороже золота.

Чего Руди этим утром совсем не ожидал, так это того, что старший по блоку 31 придет на встречу в сопровождении молоденькой девушки, изящной, как газель, несмотря на облачение – испещренную пятнами длинную юбку и слишком широкий для ее фигурки шерстяной жакет.

Фреди говорит о проблемах снабжения блока и о своих попытках улучшить рацион детского питания.

– Говорят, – безразличным тоном, словно речь идет о чем-то незначительном, переводит разговор на другую тему Розенберг, – что театральная постановка 31-го блока на Хануку имела успех. Что офицеры СС долго аплодировали. И, судя по всему, комендант Шварцгубер неплохо провел время.

Хиршу известно, что Соппротивление доверяет ему не в полной мере. Он, со своей стороны, тоже не доверяет Соппротивлению.

– Да, все верно, они остались довольны. А я воспользовался хорошим настроением доктора Менгеле, чтобы обратиться к нему с просьбой передать в наше пользование склад, примыкающий к гардеробной. Хотим устроить там ясельную группу для малышей.

– Доктор Менгеле, да в хорошем настроении? – Розенберг широко раскрывает глаза, как будто ему кажется абсолютно невероятным, что некто, каждую неделю бесстрастно обрекающий на смерть сотни людей, может пребывать в состоянии, свойственном обычному человеку.

– Сегодня мне доставили приказ с его визой. Так что теперь наши малыши получают свое собственное помещение и не будут путаться под ногами у старших.

Розенберг кивает и улыбается.

И вот тут, совершенно случайно, он встречается взглядом с девушкой, которая пришла вместе с Хиршем и теперь скромно стоит в сторонке. И ведь мало того, что встретился взглядом, – не может отвести от нее глаз. Хирш, заметив это, представляет девушку регистратору: Алиса Мунк, одна из юных ассистентов, помогающих ему в блоке 31.

Руди пытается вернуться мыслями к тому, о чем говорил Хирш, но глаза его, подобно стеклянным шарикам из детской игрушки, неизменно обращаются к юной ассистентке, чьи свежие губки отвечают ему робкой улыбкой. И тут Хирш, способный застыть, как камень, не дрогнув ни единым мускулом, способный оставаться совершенно невозмутимым в присутствии целого батальона эсэсовцев, смущается, заметив признаки взаимного притяжения двух молодых людей. Для него самого любовь с ранней юности была лишь источником проблем. В те годы он прилагал максимальные усилия к тому, чтобы быть постоянно погруженным в соревнования и тренировки, одновременно организуя огромное количество мероприятий, чтобы голова постоянно была занята. Быть вовлеченным во все сразу позволяло ему, кроме всего прочего,

скрывать то обстоятельство, что, будучи таким популярным и таким востребованным, он всегда один.

В конце концов Хирш решает сообщить этим двоим, из чьих глаз сыплются искры, что у него есть неотложные дела. И деликатно удаляется, дабы не мешать им сплести тонкие нити любовной паутины, такие прозрачные и вместе с тем такие прочные. И ко всему прочему порой такие липкие, что, приблизившись, рискуешь застрять, сам того не замечая.

– Меня зовут Руди.

– Я знаю. А меня – Алиса.

Когда они остаются один на один, Розенберг пытается задействовать свой самый лучший репертуар соблазнителя. Весьма скудный, нужно признать, поскольку девушки у него никогда не было. Как и интимных отношений с женщиной. В Биркенау вообще-то можно купить и продать все, кроме свободы, в том числе и секс. Но он никогда не хотел – или не решался – обратиться за такого рода услугами на подпольный рынок плоти. Повисает секундная пауза, и он торопится заполнить ее, потому что неожиданно для себя понимает, что больше всего на свете ему хочется, чтобы эта стройная, как молодая косуля, девушка не уходила; что больше всего на свете он желает, чтобы она вечно стояла там, по ту сторону ограды, и улыбалась ему розовыми, слегка сморщенными от холода губами, которые так хочется согреть поцелуем.

– Ну и как работается в блоке 31?

– Неплохо. Мы, ассистенты, в основном следим за тем, чтобы все было на своих местах. Кто-то отвечает за печку – растапливает ее, когда есть дрова или уголь, что бывает далеко не всегда. Кто-то помогает кормить малышей. Еще мы подметаем полы. А еще я вхожу в группу карандашей.

– Карандашей?

– Ну, настоящих-то карандашей очень мало, и используются они редко, в особых случаях. А обычно мы делаем самодельные – примитивные, конечно, но вполне пригодные.

– И как вы их делаете?

– Сначала нужно заточить ложки, чтобы ими резать. Затачиваешь при помощи двух камней. Так получается нож, им мы заостряем щепочки, отколотые от уже никуда не годных кусков дерева. Потом – конечный этап, самый главный: обжечь один конец до черноты. Это и есть моя работа. Таким карандашом дети смогут написать только несколько слов. Так что заострять щепочки и обжигать их приходится каждый день.

– И для стольких детей! Посмотрим, может, мне удастся раздобыть для вас несколько карандашей...

– Правда? – У Алисы загорелись глаза, что очень понравилось Руди. – Но пронести их в наш лагерь будет очень непросто...

Это нравится ему еще больше – вот она, возможность показать себя.

– Да нет, не так сложно. Нужно только, чтобы по ту сторону ограды был надежный человек... например, ты.

Алиса с готовностью соглашается, довольная тем, что сможет оказаться еще в чем-то полезной Хиршу, которым она, как и все ассистенты блока 31, искренне восхищается.

Мгновение спустя в голове регистратора проносится вихрь сомнений. До сих пор его дела в Аушвице шли неплохо: выгодно разыграв свои карты, он занял довольно теплое местечко. Завоевал доверие влиятельных, занимавших немалые должности людей. Кроме того, ему хватало благоразумия если и рисковать, то только в известных пределах и в самых безотлагательных случаях, а также совершать обменные операции различными продуктами и услугами с малым риском и большой прибылью для себя самого и своего статуса. Раздобыть карандаши, за что ему придется чем-то заплатить, чтобы потом отдать их задарма в детский барак, – и невыгодно, и неосторожно. Но при виде улыбки и черных блестящих глаз девушки все остальное вмиг вылетает у него из головы.

– Через три дня. В этом же месте у ограды. И в это же время.

Алиса соглашается и тут же торопливо убегает, как будто у нее вдруг возникло срочное дело. Руди смотрит ей вслед, любуясь пышными волосами, которыми играет поднявшийся к ночи ветер. Теперь придется нарушить закон выживания, которому он так долго и неукоснительно следовал и который до сих пор оказывался весьма эффективен: никогда ничего не просить, если не можешь дать что-то взамен. А когда выгода от операции незначительна, это признак того, что близится провал. Находясь в Аушвице, ты не можешь позволить себе такую роскошь, как чего-то лишиться. С этой же девушкой обмен получился совсем никакой, но, сам не зная почему, он доволен. Возвращаясь к себе в барак, расположенный в лагере ВПа, Руди чувствовал странную слабость – ноги, будто ватные, подгибались. Никогда прежде не приходила ему в голову мысль, что влюбленность имеет те же симптомы, что и грипп.

Диту Адлерову ноги тоже сегодня подводят: подгибаются и дрожат. Коленки постукивают друг о друга, словно индейские маракасы. Дети и преподаватели уже в бараке и успели заметить, что библиотекаря стоит возле трубы отопления, а рядом с ней – около десятка томов. Похоже на то, что Дита готова разложить их на трубе, как на прилавке. Все эти люди давно, очень давно – несколько месяцев, с самого Терезина – не видели столько книг сразу. Преподаватели подходят поближе, читают названия на корешках, если, конечно, они читаемы. Их взгляды вопрошают: могу ли я взять книгу в руки, полистать? Дита разрешает. Но при этом глаз с них не сводит. Когда одна учительница слишком резким движением раскрывает книгу о психоанализе, Дита делает ей замечание, на словах умоляя о большей аккуратности. На самом деле – требуя, но при этом улыбаясь, и женщина в растерянности: получить выговор от четырнадцатилетней ассистентки – кто бы мог подумать?

– Дело в том, что они очень ветхие, – поясняет Дита, надев на лицо улыбку.

Книги нужно возвращать в библиотеку в конце каждого часа, чтобы они «обращались» – ходили от группы к группе, от урока к уроку. Все утро книги бродят по барaku. Дита не спускает с них глаз, даже с тех, которые оказались в самых дальних углах. В одном из них – учебник по геометрии; он в руках у учительницы, которая довольно активно жестикулирует. Недалеко от себя на табурете Дита видит атлас – самую большую по формату книгу, но и она помещается во внутренний карман ее блузы. Легко различает зеленую обложку русской грамматики, используемой в основном для того, чтобы показывать детям удивительную кириллицу с ее загадочными, словно тайные письма, буквами. Романы пользуются меньшим спросом. Кое-кто из взрослых берет их почитать, но ведь делать это можно только в блоке 31.

Дита должна поговорить с Лихтенштерном, попросить у него разрешения выдавать книги тем преподавателям, которые свободны от уроков во второй половине дня, когда дети играют или поют в хоре Ави Офира. Поют дети с удовольствием. Особенно хорошо у них выходит «Жаворонок», при исполнении которого звонкие детские голоса заполняют все пространство барака.

Ближе к обеду книги начинают возвращать. Дита принимает их с явным облегчением: так выглянувший в окно юноша наблюдает, как домой после кратковременной прогулки возвращаются, устало опираясь на палку, его престарелые родители. Неожиданно лицо Диты омрачается: она хмуро глядит на преподавателя, который возвращает ей книгу несколько более помятой, чем взял. За то время, что Дита выступает в роли хранительницы книг, она уже успела выучить каждую их морщинку, каждое повреждение, каждую вмятинку. И когда книги к ней возвращаются, каждую из них она осматривает внимательно, как строгая мать, ведущая учет новым царапинам на коленках сына, вернувшегося с улицы под крышу родного дома.

Фреди Хирш с бумагами в руке и, похоже, чем-то озабоченный идет мимо Диты, которая дежурит возле своего библиотечного пункта на отопительной трубе. Несмотря на занятость, он останавливается и окидывает взглядом мини-библиотеку. Фреди относится к тому типу людей, которые все время спешат, но при этом всегда имеют несколько минут в запасе.

– Ну и ну! Это уже настоящая библиотека!

– Рада, что вам нравится.

– Просто замечательно. Мы, евреи, всегда были самым культурным народом. – Сказав это, он широко улыбается Дите. – Если тебе нужна моя помощь – обращайся.

Хирш поворачивается и, шагая столь же широко, идет дальше.

– Фреди! – Дита все еще слегка смущается, обращаясь к директору так фамильярно, но он сам потребовал от нее этого. – Думаю, что да, что мне нужна помощь.

В его взгляде – вопрос.

– Достаньте для меня, пожалуйста, марлю, клей и ножницы. Этим бедняжкам нужно подлечиться.

Хирш кивает. И улыбается, направляясь к выходу из барака. Он никогда не устает повторять любому, кто согласен слушать: «Дети – лучшее, что у нас есть».

После обеда дождь кончился, и, несмотря на холод, малыши пользуются этим обстоятельством, чтобы поиграть под открытым небом в догонялки или в секреттики, пряча и отыскивая сокровища в вязкой слякотной почве. Дети постарше составили табуреты в широкий полукруг. Дита уже убрала все книги и подходит к ним поближе. В центре полукруга стоит Хирш и ведет рассказ на свою любимую тему. Это *алия* – возвращение на родину, в древнюю Палестину. Ребята слушают внимательно, не отвлекаясь. Более чем уязвимые, с вечно пустыми желудками и под вечной угрозой гибели, о которой не устает напоминать запах горелого мяса, приносимый со стороны крематориев ветром, они очарованы словами директора: он дает им возможность ощутить себя непобедимыми.

– *Алия* – это гораздо больше, чем просто эмиграция. Речь не об этом. Не о том, чтобы переехать в Палестину, как в любую другую страну, чтобы зарабатывать там себе на жизнь, и все. Нет-нет-нет. Дело не в этом. – И Хирш делает долгую паузу, в течение которой царит оглушительная тишина. – Это паломничество в земли, связанные с вашими предками кровными узами. Отправиться туда – это связать концы некогда порванной нити. Принять землю и сделать ее своей. Это не что иное, как *hagshama atzmit* – самореализация, самосовершенствование. Нечто гораздо более глубокое. Вы, наверное, об этом и не подозреваете, но внутри каждого из вас есть лампочка. Да-да, не смотрите на меня квадратными глазами, она есть – там, в глубине... И у тебя тоже, Маркета! Только она не горит. Кто-то, наверное, скажет: «Ну и что мне с того? Жил же я как-то до сих пор и неплохо жил». Конечно, вы и дальше можете жить, как жили до сих пор, но жизнь эта будет серой, бесцветной. Разница между жизнью с выключенной лампочкой и лампочкой зажженной подобна разнице между пещерой, освещаемой спичкой и прожектором. И если вы свершите *алию*, предпримете паломничество в страну своих предков, то, едва вы ступите на землю Израиля, лампочка загорится с невиданной прежде мощностью и озарит вас изнутри. И тогда вы все поймете. Поймете, кто вы на самом деле.

Мальчики, словно в забытии, смотрят на него, не отрываясь. Глаза их широко распахнуты, чьи-то руки непроизвольно поглаживают грудь, словно нащупывая невидимый выключатель, зажигающий внутреннюю лампочку, которая, по словам Хирша, спрятана в каждой груди.

– Вот посмотрим мы на нацистов – с их современным оружием, в блестящей форме. И думаем, что они могущественны, даже непобедимы. Но нет, вовсе нет. Не нужно обольщаться: под столь блестящей внешностью ничего нет. Это оболочка, каркас. Мы не такие, мы не гонимся за внешним блеском, мы стремимся светиться изнутри. И свет этот обеспечит победу нам. Наша сила – не в щегольской форме, а в вере, гордости и целеустремленности.

Фреди умолкает и обводит взглядом своих слушателей, глядящих на него во все глаза.

– Мы сильнее их, потому что у нас сердце сильнее. Мы лучше их, потому что наше сердце более мощное. Вот в чем причина того, что им не одолеть нас никогда. Мы вернемся в Палестину и восстанем. И больше никто не посмеет нас унижить. Потому что мы вооружимся – нашей гордостью, а также мечами... остро заточенными. Лгут те, кто говорит, что мы – народ

счетоводов. Мы – народ воинов, и мы сумеем вернуть долги нашим обидчикам, стократно их вернем – все удары, все нападки.

Дита молча слушает, потом тихо уходит. Слова Хирша никого не оставляют равнодушными. Ее тоже.

Она поговорит с ним, когда все разойдутся. Ей не хочется, чтобы во время их разговора, когда она будет рассказывать о Менгеле, вокруг роились люди. А сейчас в бараке еще остаются учителя и ассистенты, они собрались в кружок и о чем-то беседуют. Дита различает лица кое-кого из старших девочек, они смеются. И некоторых мальчиков, которые видятся ей надутыми индюками, как этот Милан, который считает себя красавцем. Ну да, ну ладно, он хорош собой, но пусть только попробует, дурак такой, с ней заигрывать, она пошлет его куда подальше. С другой стороны, это полная ерунда. Она уже хорошо усвоила, что Милан и не подумает обращать внимание на такую худышку, как она. Есть же девочки, которые даже на самом скудном рационе концлагеря могут похвастаться весьма заметными бедрами и вздымающейся грудью.

Дита принимает решение: подождать, пока все разойдутся, а уж потом поговорить с Хиршем. Она пробирается в закуток за сложенными дровами, где частенько в одиночестве проводит время старый Моргенштерн. Усаживается на стоящую там скамейку. Розовая бумажка – остроносая бумажная птичка, слегка помятая – легко касается ее руки. Ей снова хочется открыть фотоальбом своей памяти и вернуться в Прагу, вероятно, как раз потому, что при невозможности мечтать о будущем ты всегда можешь заменить его прошлым.

Перед глазами оживает яркая картинка: вот мама, она нашивает ужасную желтую звезду на Дитину чудесную блузку цвета морской волны. Но что больше всего впечатляет ее в этой сцене, так это выражение маминого лица, склонившегося над шитьем: полная концентрация на иголке с ниткой, оно такое обыденное, как будто мама поправляет шов на подоле какой-нибудь юбки. Дита вспоминает, что, когда она, злая, как фурия, спросила, что же такое творит мама с ее любимой блузкой, та ограничилась простой репликой: ничего страшного не случится, если ты будешь носить желтую звезду. И даже взгляда от шитья не подняла. Дита помнит, как у нее, красной от негодования, сжались кулаки, потому что эти желтые нашивки из грубой ткани совершенно отвратно будут выглядеть на синем шелке платья и еще хуже – на зеленой рубашке. И она никак не может взять в толк, как ее мама, такая элегантная женщина, которая говорит по-французски и читает красивые европейские журналы мод, обычно лежащие на столике в гостиной, может нашивать на ее одежду грубые заплатки. «Это война, Эдита, это война...» – шепчут мамины губы, а глаза по-прежнему не отрываются от работы. И Дита умолкает и принимает все это как нечто неизбежное, с чем ее мама и остальные взрослые уже смирились. Это война, ничего тут не поделаешь.

Дита съеживается в своем закутке и извлекает из памяти другой образ – свой день рождения, когда ей исполнялось двенадцать. Видит квартиру, родителей, бабушек и дедушек, дядей, тетей, кузин и кузенов. Она стоит посреди комнаты, чего-то ждет, а все родственники образуют вокруг нее хоровод. На ее лице – печальная улыбка, та, что появляется, когда она сбрасывает маску закаленной воительницы и проступает застенчивая Дита, обычно надежно спрятанная за внешней бесцеремонностью. Самое странное в этой картине то, что никто, кроме нее, не улыбается.

Она хорошо помнит тот день рождения – последний, на котором был вкусный, мамой испеченный пирог. С тех пор ничего подобного уже не было. Теперь-то праздник, если попадется кусочек картошки, плавающий в соленой водичке, называемой супом. Правду сказать, тот давний *штрудель*, при одном воспоминании о котором у Диты текут слюнки, был гораздо меньше, чем обычно делала мама, но Дита не стала жаловаться, потому что видела, как целую неделю до ее праздника мама обходила десятки магазинов, стараясь раздобыть побольше изюма и яблок. И все без толку. Каждый день она приходила за дочкой в школу с пустой авоськой и без малейшего признака досады на лице.

Такой была ее мама, мало расположенная обсуждать всякие проблемы, как будто рассказать кому-то о своих тяготах – признак дурного тона. Дита вспоминает, что не раз ей хотелось сказать: мама, облегчи душу, Расскажи мне обо всем... Но нет, ее мама – человек другого времени, сделанный из иных материалов, как те керамические горшки, которые не пропускают сквозь стенки тепло и все держат внутри себя. Дита же, напротив, в свои двенадцать лет любила рассказывать всем обо всем: ей нравилось говорить и нравилось слушать, нравилось подпирать стенку и нравилось гнать волну. Она была счастливой девочкой, и, если хорошо подумать, то даже сейчас, в этом ужасном лагере, она не отказалась от этого состояния.

Нервно улыбаясь, с подарком в руках в гостиную вошла мама. Когда Дита поняла, что это коробка с обувью, у нее загорелись глаза: вот уже несколько месяцев она мечтает о новых туфельках. Ей нравятся туфли светлых тонов, с пряжкой, по возможности – с невысоким каблучком.

Она торопливо распахнула коробку, и ее глазам открылись повседневные туфли – закрытые, черные, наводящие тоску. Присмотревшись, она замечает, что туфли даже не новые: царапина на носке старательно замаскирована гуталином. Вокруг Диты воцарилась густая тишина. Бабушки с дедушками, родители, дяди с тетями – все смотрят на нее и ждут ее реакции. Она изобразила широкую улыбку и объявила, что подарок ей очень понравился. Подошла поцеловать маму, получив в ответ крепкое объятие, потом – папу, который не преминул пошутить, назвав ее самой везучей девочкой, поскольку этой осенью в Париже непременно будут носить как раз закрытые черные туфли.

Вспомнив об этом, Дита улыбнулась. Но у нее были и собственные планы, связанные с двенадцатилетием. Вечером, когда мама зашла пожелать дочке спокойной ночи, Дита попросила еще об одном подарке. И прежде чем мама начала протестовать, поторопилась сказать, что никаких дополнительных расходов он не потребует: ей уже исполнилось двенадцать, и она просит, чтобы ей дали прочитать какую-нибудь взрослую книгу. Мама на секунду задумалась, потом получше подоткнула одеяло и, ничего не сказав в ответ, вышла из комнаты.

Через какое-то время, когда Дита уже начала засыпать, послышался скрип осторожно открываемой двери и мамина рука положила на тумбочку книгу – «Цитадель» Арчибальда Джозефа Кронина. Как только мама вышла из комнаты, Дита поспешила заткнуть щель под дверью своим халатиком, чтобы никто не увидел, что у нее горит свет. В ту ночь она так и не заснула.

В конце одного октябрьского дня в 1924 году бедно одетый молодой человек с жадным вниманием глядел в окно вагона третьего класса в почти пустом поезде, медленно тащившемся из Суонси в Пеноуэльскую долину. Мэнсон, ехавший с севера, был в дороге целый день и два раза пересеживался – в Карлайле и в Шрусбери. Тем не менее и теперь, к концу утомительного путешествия в Южный Уэльс, его возбуждение не только не улеглось, но и еще усилилось, подогреваемое мыслями о начале его врачебной деятельности, о первом в его жизни месте врача в этой незнакомой и некрасивой части страны².

Она поудобнее устроилась в купе рядом с молодым доктором Мэнсоном и вместе с ним доехала до Дринеффи, маленького шахтерского поселка в Уэльских горах. Вот так она оказалась пассажиром поезда читателей. В ту ночь Дита испытала радость открытия: оказывается, не столь важно, сколько барьеров поставят перед ней хоть все рейхи планеты, потому что стоит ей открыть книгу, как все они окажутся преодолены.

² Первый абзац романа Арчибальда Джозефа Кронина «Цитадель» (1937) в переводе Марии Абкиной. Процитировано по изданию: Кронин А. Дж. Цитадель. Азбука-Классика, 2018.

Думая сейчас о «Цитадели», она улыбается с теплотой, даже с благодарностью. Книгу Дита прятала в школьной сумке и носила с собой, чтобы читать на переменах, а мама ни о чем не догадывалась. Это была первая книга, заставившая ее испытать чувство негодования.

Надо же, молодой доктор – идеалист, с талантом, свято веривший в силу науки, способную победить болезнь, и вот он женится на обожаемой всеми в Дринеффи Кристине и переезжает в город. А когда его принимают в высшем свете, начинает глупо гоняться за гонорарами и превращается в доктора для богатых матрон, единственная настоящая болезнь которых – скука.

Дита качает головой. Каким же глупцом оказался доктор Мэнсон, позволивший себе докатиться до состояния зануды-педанта и оставить Кристину!

А еще эта книга оказалась первой, над которой она плакала.

В том месте, когда доктор Мэнсон пришел наконец в себя (что случилось после гибели одного бедного пациента в результате халатности его нового коллеги из врачебной аристократии) и, встав на колени, попросил прощения у Кристины, Мэнсон решил порвать все связи с этим пустым светом, вновь стать настоящим врачом и помогать людям – всем, вне зависимости от того, есть ли у них деньги, чтобы заплатить ему за несколько минут его времени. И он снова сделался тем возвышенным человеком, каким и был в начале романа, а Кристина снова начала улыбаться. Как жаль, что вскоре, следуя законам жанра, эта славная женщина умерла.

Дита улыбается, вспоминая эти страницы. С тех самых пор, как они оказались прочитаны, она знает, что границы ее жизни раздвинулись. Ведь книги умножают жизнь, дают тебе возможность узнать таких людей, как Эндрю Мэнсон и, даже более того, таких, как Кристина – женщина, которая не дала ослепить себя ни высшему обществу, ни деньгам, которая ни разу не изменила своим идеалам, которая проявила характер и не отступила перед тем, что не считала справедливым.

С тех пор Дита мечтает стать такой, как пани Мэнсон. Она не поддастся этой войне, потому что роман Кронины показал ей, что если твердо держаться того, во что веришь, то в конце концов справедливость пробьется на поверхность, как бы глубоко ни была она погребена. Дита кивает, но с каждым разом все медленнее, и понемногу засыпает в тихом укромном уголке за поленницей дров.

Когда она открывает глаза, в бараке темно и тихо. На мгновение ее охватывает ужас при мысли, что она, наверное, проспала сигнал отбоя. Не вернуться вовремя в барак – это тяжелый проступок, как раз такой, которого ждет не дождется Менгеле, чтобы превратить ее в лабораторный материал. Но Дита прислушивается и слегка успокаивается: за стенами барака слышны обычные звуки. А еще звучат чьи-то голоса, совсем рядом, и Дита понимает, что именно они-то ее и разбудили. Разговор идет по-немецки.

Дита выглядывает из-за дров и видит, что дверь в комнату Хирша открыта и оттуда падает свет. Хирш сопровождает кого-то к выходу из барака и осторожно отворяет входную дверь.

– Подожди немного, здесь люди рядом.

– Вижу, ты побаиваешься, Фреди.

– Думаю, что Лихтенштерн о чем-то подозревает. Нужно сделать все возможное, чтобы ни он, ни кто бы то ни было другой из блока 31 ничего не узнал. Если узнают, то я пропал.

Его собеседник фыркает от смеха.

– Да ладно тебе, не волнуйся ты так! Ну и что они тебе сделают? Они ведь всего лишь еврейские узники концлагеря, расстрелять тебя они точно не смогут.

– Стоит им узнать, что я их обманываю, как у кого-нибудь точно появится желание сделать это...

Наконец собеседник Фреди переступает порог барака, и Дите удастся увидеть его, хотя и мельком. Это крепкий мужчина в широком черном плаще. А еще она видит, что на голову он накидывает капюшон, хотя дождя на улице нет, и это значит, что человек хочет остаться

неузнанным. Однако Дита может разглядеть его обувь – не деревянные сабо заключенных, а начищенные до блеска кожаные сапоги.

«Что здесь делает офицер СС, да еще инкогнито?» – возникает вопрос.

Свет из комнаты Хирша освещает его самого, идущего от входных дверей обратно. И в этом свете Дите видна его понуро опущенная голова. Никогда раньше не видела она его таким подавленным. Человек с обычно прямой спиной повесил голову.

Дита замерла в закутке за дровами. Она не может осознать то, чему только что была свидетелем. Вернее, она боится это осознать. Она хорошо слышала слова, произнесенные Хиршем: он их обманывает.

Но почему?

Дита чувствует, что земля уходит у нее из-под ног, и вновь опускается на скамейку. Ей было совестно, что она не сказала Хиршу всю правду... Но ведь это он тайно встречается здесь с эсэсовцами, которые под покровом ночи, в камуфляже, перемещаются по лагерю.

Бог ты мой...

Она вздыхает и поднимает руки к голове.

«Как я могу сказать правду тому, кто сам ее скрывает? И если нельзя верить Хиршу, то кому тогда можно?»

Она так ошарашена этими мыслями, что, встав на ноги, чувствует головокружение. Когда Хирш закрывает за собой дверь своей комнаты, она встает и бесшумно выходит из барака. Двери бараков устроены так же, как двери в клиниках для безумцев: не закрываются изнутри.

И в эту секунду раздается сирена – сигнал к отбою и комендантскому часу. Последние гуляки, бросившие вызов холодной ночи и ярости своих *капо*, бегом возвращаются в бараки. У Диты сил бежать не осталось. Слишком давят на нее возникшие вопросы, слишком путаются в ногах.

А если тот человек, с которым разговаривал Хирш, вовсе не эсэсовец, а боец Сопротивления? Но почему в таком случае Хирш так беспокоился, что об этом визите и разговоре могут узнать в блоке 31, ведь всем известно, что Сопротивление – на нашей стороне? Кроме того, много ли она встречала людей из Сопротивления, которые говорили бы с таким ярко выраженным берлинским акцентом?

Она шагает и по дороге качает головой. Нет, отрицать очевидное невозможно. Это был эсэсовец. Конечно, Хирш имеет с ними дело, это точно. Но этот визит не был официальным. Нацист маскировался, оделся так, чтобы его не узнали, да и говорил с Хиршем так обыденно, можно даже сказать по-приятельски... А потом этот его облик – облик человека, терзаемого угрызениями совести...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.